МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

С. П. МЕЛЬГУНОВ

НА ПУТЯХ К ДВРЦОВОМУ ПЕРЕВОРОТУ



С. П. Мельгунов

На путях к дворцовому перевороту



Москва
Берлин
2020

УДК 94(47).083
ББК 63.3(2)534-33
М48

Мельгунов, С. П.

М48 На путях к дворцовому перевороту / С. П. Мельгунов. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 215 с.

ISBN 978-5-4499-0584-0

Как найти истину? Как разобраться в нашей истории, понять, что же происходило на самом деле в далекие семнадцатые прошлого века? Ответы на многие подобные вопросы даст книга талантливого публициста, одного из известнейших русских историков XX века, Сергея Петровича Мельгунова (1879–1956 гг.). В своем исследовании он рассказывает о политической обстановке в России накануне Февральской революции 1917 г. Являясь непосредственным свидетелем и участником ряда событий, автор анализирует борьбу различных сил на политической арене страны.

Выйдя в свет в 1931 г. в Париже, издание сразу же стало библиографической редкостью, им оно остается и по сей день.

УДК 94(47).083
ББК 63.3(2)534-33

ISBN 978-5-4499-0584-0

От автора

«Мы были неопытными революционерами и плохими заговорщиками».

Милюков

Я коснусь невыясненной еще страницы нашей предреволюционной эпохи.

В истории революции, написанной П. Н. Милюковым, говорится про канун 1917 г.: «Впечатление, что страна живет на вулкане, было у всех. Но кто же возьмет на себя почин, кто поднесет фитиль и взорвет опасную мину? В обществе широко распространялось убеждение, что следующим шагом после убийства Распутина, который предстоит в ближайшем будущем, будет дворцовый переворот при содействии офицеров и войска... Из сообщения М. И. Терещенко после самоубийства ген. Крымова стало известно, что этот «сподвижник Корнилова» был самоотверженным патриотом, который в начале 1917 г. обсуждал в тесном кружке подробности предстоящего переворота. В феврале уже намечалось его осуществление. В то же время другой кружок, ядро которого составляли некоторые члены бюро прогрессивного блока с участием некоторых земских и городских деятелей, ввиду очевидной возможности переворота, хотя и не будучи точно осведомлен о приготовлениях к нему, обсуждал вопрос о том, какую роль должна сыграть после переворота Государственная дума. Обсудив различные возможности, этот кружок... остановился на регентстве вел. кн. Михаила Александровича... Значительная часть членов первого состава Временного правительства участвовала в совещаниях этого второго кружка...»

Так писал историк революции в книге, основной текст которой составлен был по свежей памяти еще в 1918 г. Через

десять лет, в следующей своей работе «Россия на переломе», Милюков, характеризуя тот же момент и ссылаясь главным образом на воспоминания Родзянко, глухо указывает на разговоры о «принудительном отречении царя и даже более сильных мерах». Упоминает автор со слов князя Львова о намерении генерала Алексеева «арестовать императрицу, если бы она приехала в ставку». Повесть о заговорах изложена, таким образом, туманно и здесь. (Ряд других намеков мы можем найти и в отдельных статьях П. Н. Милюкова.) Между тем не только из статьи Терещенко, но и из показаний А. И. Гучкова Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, перед которой выступал как свидетель и сам Милюков, стало уже известно о заговоре, который перед революцией организовывал Гучков. По его словам, план был таков: «Захватить по дороге между Ставкой и Царским Селом императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые... в Петрограде можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство и затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавляют собою правительство». Умолчание в «Истории второй русской революции» Милюкова вызывает некоторое недоумение, ибо представляется совершенно невероятным, чтобы Милюков, стоявший в центре события того времени, так плохо был осведомлен о закулисных планах. Очевидно, историк, следуя по стезе мемуаристов, предпочитает умалчивать — и не только потому, что заговоры, по его признанию, не имели влияния на ход событий.

Все тайное постепенно становится явным. История раскрывает, в конце концов, все секретные комбинации. Понемногу и в зарубежной печати начинают просачиваться сведения о предреволюционных планах «дворцового переворота». Так, в «Последних новостях» был напечатан фельетон

С. А. Смирнова, в котором излагалась со слов А. И. Хатисова заговорщицкая попытка, по инициативе якобы князя Львова, привлечь к совершению дворцового переворота великого князя Николая Николаевича[1]. Многие из причастных к этому делу лиц решительно отвергают свое участие и заявляют о фантастичности сообщенных сведений. Печатно, однако, никто из них не выступил с опровержением.

Фигура умалчивания со стороны современников приводит к тому, что исследователю до поры до времени приходится блуждать среди трех сосен. Основную причину такого умалчивания совершенно верно определил один из деятелей февральской революции в частном письме ко мне. Позволю себе его процитировать: «Когда разразилась «стихийная», все эти заговоры естественно замолкли, заглохли в своих зачаточных фазисах, образовав какие-то туманные пятна. В этом тумане вы и пытаетесь разобраться. А затем историка подстерегает еще одна трудность — источники. Надо считаться с пережитком политической обстановки и общественной психологии. То, что было тяжким государственным преступлением до февраля, что приходилось тщательно скрывать, стало в один прекрасный день патриотическим подвигом или, вернее, правом на такой подвиг, правом, которым люди стали кичиться. Много за эти дни выросло таких героев-революционеров, правда, как бы в потенции. На прикосновенности к «революционному действу» люди пытались в новой обстановке составить себе репутацию, завоевать славу, сделать карьеру. А затем наступил новый период (период наших дней), когда предается анафеме вся и все, что прикоснулось революции. И тогда люди от них шарахнулись, заме-

[1] Еще раньше, в 28-м году, М. Кусторубов (т. е. Гакебуш) поместил о том же статью под заголовком «Заговорщики» («Русское время», 18 марта). Гакебуш на основании беседы с разными людьми касался и других предреволюционных заговоров.

тая следы. И вот в этой суматохе, скажите сами, когда люди склонны были говорить правду? А к этой сознательной неправде, сколько понадобилось несознательной за эти эпохи сумятицы, угара, избалованных чувств... И во всем этом должен разобраться бедный историк, ибо иначе у него получится не история, а роман».

Пока конкретные результаты революции таковы, что, действительно, немногие готовы брать на себя, даже косвенно, ответственность за содействие революции, хотя идея дворцового переворота сама по себе являлась как бы противореволюционной прививкой.

Между тем годы идут. Время изглаживает из памяти детали, и подчас так основательно, что непосредственным участникам действия кажется, что его даже и не было. И нужно уже коллективное творчество для того, чтобы восстановить предреволюционное время. Моя цель — пробудить интерес к затронутому вопросу и побудить тех, кто знает, хотя бы в полемической форме, высказать свои предположения. Время убийственно скоро идет. Уже некоторых нет, и, может быть, они унесли в могилу то, что могли рассказать при жизни. Так, князь Г. Е. Львов, по-видимому, никому из друзей детально не излагал ни своих планов, ни своих действий.

В моем изложении будет много предположений и догадок. Я пытался опросить многих из тех, кто мог так или иначе знать, что делалось в разных общественных кругах в преддверии революции, и таким путем я старался уяснить себе конъюнктуру конспирации. Я «интервьюировал» М. А. Алданова, Н. И. Астрова, В. И. Бурцева, В. В. Вырубова, А. И. Гучкова, И. П. Демидова, А. Ф. Керенского, А. И. Коновалова, Е. Д. Кускову, Н. Н. Львова, А. П. Лукина, В. А. Маклакова, Э. С. Маргулиеса, Б. И. Николаевского, Т. И. Полнера, В. М. Пронина, Л. В. Сахарова, С. А. Смирнова, А. И. Хатисо-

ва, М. М. Федорова и некоторых, имен которых я, по разным причинам, не называю. К сожалению, мне не удалось видеть М. И. Терещенко и разъяснить возникшие недоумения.

Трудность установления фактической канвы лежит не только в указанных психологических основаниях. Вмешивается и другая таинственная сила, скрытая от взоров профанов — тайна русских масонов. Мы увидим несомненную связь между заговорщицкой деятельностью и русским масонством эпохи мировой войны. Но здесь передо мною табу уже по масонской линии. Современнику очень щекотливо раскрывать чужие тайны. Постараюсь быть осторожным в этом отношении.

Являются мои очерки «романом» или «историей»? Думаю, что последнее. И для того, чтобы читатель ощутил всю картину и понял мой подход, я не могу ходить сразу in médias res. За истекшие пятнадцать лет одни из читателей забыли о тех настроениях, которые характеризовали собой первые годы войны, другие в свое время не переживали их сознательно. Приходится, хотя бегло, напомнить пройденные этапы, — вернее, для правильного исторического восприятия необходимо ввести некоторые коррективы к установившимся в литературе взглядам.

Книга эта первоначально печаталась фельетонами в «За свободу». Никаких существенных возражений до сих пор я не встретил. Это дает основание думать, что факты, изложенные в ней, во всяком случае, близки к действительности. Помещая в газете, я устранил точные ссылки на литературу. В отдельном издании, несколько дополненном и исправленном, я даю в приложении перечень использованной литературы. Таким образом, желающий может найти мои цитаты.

Глава I. Война

1. Шовинистический угар

Трудно представить себе теперь то настроение, какое главенствовало в стране в первые месяцы войны. Не было того подлинного национального подъема, который вызывает сознание, проникшее в самые поры народные, что отечество в опасности, но было много шумливого «шовинистического энтузиазма», как выражалась позднейшая записка петроградского жандармского управления. Этот некритический патриотизм в широких слоях общества переходил все границы. То был гипноз, обычный для начала войны — до первой неудачи. Недаром даже в такую непопулярную войну, какой была русско-японская, известный Лев Тихомиров записал: «Все сомкнулось, все революции спрятались, все думалось только о совместном служении родине. Очень легко дышится в этой чистой атмосфере, ставшей уже давно почти неизвестной у нас».

В грозный час 1914 г. пред сильным и организованным противником в действительности не было сознания ответственности. В своих ценнейших записках о настроениях того периода В. В. Каррик, застигнутый объявлением войны в глухой провинции, в кумысо-лечебном заведении в Джанетове, рассказывает, что кругом только и слышно было: «Подпишем мир в Берлине». Это обычное «шапками закидаем» царило и в прессе — достаточно указать хотя бы на одну из статей Гр. Петрова в «Русском слове» доказывавшего, что одни «слабонервные дураки» думают об оставлении Варшавы. Не только «Утро России», «Русское слово», «Биржевые ведомости» — газеты, потворствующие обывательской улице, — со своими презрительными экивоками на опившихся пивом немцев, с эпитетами (даже в передовых статьях): «мерзавцы»,

«немецкий стервятник» и пр., но и «Речь», и «Русские ведомости» до некоторой степени потворствовали шовинистическому угару.

Мы помним коленопреклонные манифестации (даже студенческие), манифестации стихийные, переполнившие Дворцовую площадь и певшие национальный гимн. «Все уже сошли с ума» — записывает своем дневнике З. Н. Гиппиус. Однако никак нельзя считать эти патриотические демонстрации с хоругвями, флагами и портретами подстроенными правительственными агентами или «истинно русскими». Вот, например, описание петербургской студенческой демонстрации 9 октября 1914 г., сделанное В. В. Карриком. Двигается толпа в 5000 человек с огромным знаменем: «Единение царя с народом». По словам автора дневника, это был «естественный порыв»: «о какой-нибудь подготовленности не может быть и речи». Выступление на улицу произошло после речи ректора, когда «один студент, показывая на завешенный портрет государя, сказал: «Теперь мы можем открыть этот портрет»[2]. Многие мемуаристы пытаются (например, член Думы Шидловский) патриотические свирепости отнести только за счет администрации. Утверждать это — значит забыть то, что было. Когда открываешь свой дневник этого времени — факты сыплются как из рога изобилия. Вспоминаю, например, как в октябре 1914 года из Литературно-художественного кружка в Москве по собственной инициативе изгоняли «немцев» — членов кружка (административное распоряжение об исключении немецких поданных из общественных организаций было позже — в декабре). То было время, когда Петербург превращался в Петроград (термин этот стал применяться даже в научных

[2] Каррик делает оговорку: «В уличной манифестации принимала участие лишь небольшая часть студентов».

исследованиях, касающихся XVIII века), Рейнбот делался Резвым, Штюрмер пытался переименоваться в Панина, а Нахамкис в Стеклова. Литературный мир не избегал общего психоза.

Здесь, как и в других случаях, действовал «закон» имитативности, т. е. проявлялось то свойство людей приходить в унисон с окружающим, влиянию которого на общественную психологию некоторые психологи придают большое значение[3]. Но пройдем мимо этих фактов.

Нам нужно здесь, в сущности, констатировать одно: не только обыватель, не только рядовой интеллигент, но и политические деятели склонны были безоговорочно снять с очереди все внутренне вопросы, разделявшие уже в течение долгих лет правительство и общество и заставлявшие даже В. А. Маклакова накануне войны говорить в Думе о необходимости для партии к.-д. борьбы с властью, иначе эта борьба пройдет мимо Думы.

Как будто бы ставился крест на все прошлое, на то прошлое, которое заставляло Тихомирова в свое время записывать: «Несчастная Россия! На ней тяготеет рука Божия... страшно становится».

Теперь «Речь» и «Русские ведомости» говорят в своих передовых статьях о единении «обожаемого монарха с народом». В «Русском слове» Николай II назывался «царем-обновителем»[4].

---

[3] Инженер Ларсон, противник войны, впоследствии «спец», долгое время служивший большевикам, рассказывает в своих воспоминаниях («На советской службе»), что, присутствуя 20 июля на студенческой манифестации в Петербурге, он с большим только усилием мог заставить себя не смешиваться с толпой — так «физически» его влекло «быть заодно» с проходящей человеческой массой.

[4] Это дало повод «Русскому знамени» язвительно заметить по поводу наблюдений писателя Пришвина деревенских настроений (он указал на исчезновение в деревнях «черносотенства»): «Вся Россия превратилась в черносотенцев, и профессорские «Русские ведомости» пишут только черносотенные статьи.

Motd'ordr'ом становится поддержка правительства — своего рода французское «Union sacree». В. Д. Набоков передает в своих воспоминаниях, что в центральном комитете партии к.-д. только один Ф. И. Родичев отнесся скептически к такой позиции и будто бы воскликнул: «Да неужели вы думаете, что с этими дураками можно победить?»

Уже позже П. Н. Милюков в показаниях перед Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства говорил, что, создавая в однодневной сессии Государственной думы, 26 июля, атмосферу «общего единения», к.-д. не рассчитывали, что правительство станет на такую точку зрения. Может быть, более правильна, однако, оценка, данная тогдашним настроениям начальником Московского охранного отделения. Он писал в докладе 4 ноября: кадетские круги «в начале надеялись, что после исторического заседания Государственной думы открывается новая страница истории отношений правительства и общества». Подтверждение можно найти и в показаниях Милюкова. На вопрос, чем объясняется кратковременность июльской сессии, он ответил: «Мы в этом не находили ничего дурного». Вторая осеняя сессия разочаровала «своей кратковременностью общественное мнение», но «мы тогда не очень еще настаивали на ее длительности, потому что был первый момент нашего расхождения с правительством».

...«В первый год войны Дума совсем не вступала в споры с правительством» — дополняет в своих показаниях в Следственной комиссии А. И. Шингарев: «только в бюджетной комиссии были указания...»

Действительно, такое впечатление создавалось. Недаром в мои дневники того времени занесено: «В газетах трогательное единение к.-д. с «Союзом русского народа»... «Патриотизм» перестал отделяться от верноподданничества». В «Русских ведомостях» можно было даже в 1915 г. встретить несколько неожиданную корреспонденцию о пребывании «обожаемого» монарха в Киеве».

Мне кажется, что тактическая формула, выдвинутая Милюковым: «мы не ставим условий и требований», была глубоко ошибочна[5]. Положив безоговорочно «всю силу своего авторитета» на «весы власти», либеральная среда русского общества создавала для власти атмосферу самообмана, которая губительно влияла на ход событий.

***

Так или иначе в первые месяцы войны создались настроения, которые большевистские историки на своем жаргоне определили так: «либералы и черносотенцы, министры и Государственная дума, дворянство и земство — все слилось во время войны в одну озверелую шайку» (Шляпников). Искусственно взвинченный патриотизм мог действительно временно превращать толпу (к сожалению, при участии и представителей интеллигентного класса) в «озверелую шайку», способную разгромить в 1914 г. здание германского посольства в Петербурге и совершить антинемецкие грабежи и погромы в Москве в 1915 г. Легко и здесь винить исключительно администрацию, пытавшуюся дикими растопчинскими мерами придать войне характер «отечественной»[6].

---

[5] Нельзя не признать эту формулировку для П. Н. Милюкова несколько неожиданной, ибо руководимая им газета в день объявления войны вышла с оппозиционным настроением. «Речь» была закрыта. После возобновления (по ходатайству перед в. кн. Николаем Николаевичем) характер газеты изменился.

[6] М. В. Челноков в показаниях перед Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства определенно утверждал, что градоначальник московский, Адрианов, принимал активное участие в организации погромов. Однако в моем дневнике имеется довольно показательная запись: «Адрианов на приеме представителей печати просил газеты оказать воздействие на население». Призыв этот нашел отклик только у представителя «Русских ведомостей» Н. М. Иорданского. Это не исключает, конечно, инспирирования со стороны низших агентов администрации.

Нельзя все же не обратить внимания на объяснение, которое давал министр внутренних дел Щербатов в заседании Совета министров 6 августа: «Настроением рабочих пользуется революционная агитация, старающаяся раздувать патриотическое негодование в массах. Извольте-ка силой разогнать толпу, которая идет с царскими портретами и национальными флагами требовать искоренения немецкой крамолы. В Москве уже пришлось пережить подобный момент, и мы знаем, к чему это привело. Революционные и все более поднимающие голову пораженческие организации отлично это учитывают... Для них важно какими бы то ни было способом вывести топу на улицу. Затем стадо можно всегда повернуть в любую сторону[7].

И действительно, большевистские деятели рассказали, как в былое время они пользовались этим патриотическим настроением масс в целях возбуждения революционной энергии. Пролетариат, который, по выражению Потресова, «плелся в хвосте событий» во время войны, в первые месяцы был захвачен общим шовинистическим духом: немало было антинемецки настроенных рабочих, пополнивших ряды патриотических манифестаций. Немало рабочих непосредственно участвовало в погромах. И «открыто выступать против взволнованной массы» в то время «значило рисковать собой» — вспоминает один из рабочих-большевиков, рассказывая о московском погроме. «Назвать себя большевиком или пораженцем, — вспоминает другой про Харьков, — в это время никто не смел, не подвергаясь риску быть арестованным или избитым самими рабочими». Эти показания

[7] Применение вооруженной силы «лишь обозлило массы и придало повсеместно разлитому напряженному состоянию какой-то оттенок революционности» — доносил агент Охранного отделения. «Сознание, что, борясь с немцами, они борются с правительством, состоящим из немцев», распространилось в народных кругах.

большевиков подтверждают то, что писал в своих воспоминаниях Родзянко про петроградские манифестации: «Я ходил по улицам... и к удивлению узнавал, что это те самые рабочие, которые несколько дней тому назад ломали телеграфные столбы, переворачивали трамваи, строили баррикады».

Настроение изменилось. Если в первые дни еще можно было наблюдать следующую картину, отмеченную для Петрограда одним из участников рабочего движения: «Часть мобилизованных рабочих, как очумелая, ходила по улицам Петербургской стороны с революционными песнями и под крики «ура» патриотической толпы пела «Марсельезу», то очень скоро уже «дикими» стали казаться всякие слова о возможности революции в России. Объявление войны свело на нет волну стачек[8], заглохло всякое массовое движение, почти исчезли партийные организации. Все это утверждения большевистских исследователей эпохи. И так понятно, почему суд над большевистской думской пятеркой в ноябре 1914 г. не вызвал, в сущности, активного отклика в рабочей среде. Не этот вовсе суд разбил «иллюзию общенационального подъема», как утверждал Ленин.

***

Если среди левых общественных кругов и начались с самого начала споры между приемлющими и неприемлющими

---

[8] А. Ф. Керенскому до сих пор кажется (французское издание его воспоминаний), что Россия в 1914 г. была накануне революции. Так думает и большевик Шляпников, говорящий о революционной энергии пролетариата в апреле. Конечно, это преувеличено. Легче доказать, что без войны в России не было бы революции (между прочим, одно из положений В. А. Маклакова). Гиппиус «поражали июльские беспорядки» в Петрограде «без повода, без предлогов, без лозунгов, без смысла». Волнения были столь сильны, что бывший тогда в столице французский президент вынужден был ездить в сопровождении значительного военного конвоя: то была, по мнению Родзянко, деятельность германского военного штаба.

войну «до победы», то все же этих последних было значительное меньшинство. И разность взглядов «оборонцев» подчас так была значительна, что они действовать вместе, по характеристике Гиппиус, абсолютно были не способны. «Многие бывшие друзья, разойдясь во мнениях, сделались из-за этого врагами», — замечает в своих воспоминаниях Н. А. Бородин. А. Ф. Керенский, которого Милюков зачислил в среду «пораженцев» и который, по утверждению Шляпникова, заявлял себя сторонником Циммервальда и Кинталя, не обинуясь, однако, на совещаниях думской «крайней левой» заявлял: «Раз война есть, а германская социал-демократия голосовала за военные кредиты — значит нам руки развязаны, надо воевать» (воспоминания С. Д. Бадаева). Стенографический отчет Государственной думы 26 июля зафиксировал следующие слова лидера трудовой группы: «Мы непоколебимо уверены, что великая стихия российской демократии вместе со всеми другими силами даст решительный отпор нападающему врагу и защитит свои родные земли и культуру, созданную потом и кровью поколений».

Возможно, точки зрения Керенского не всегда были выдержаны и последовательны, как часто бывало у этого политического деятеля. По утверждению Гиппиус, Керенский был возмущен позицией, которую заняли за границей русские социалисты, стоявшие за войну. Источник этого «возмущения» автор дневника определяет правильно: «оттуда не видать», что «здесь такое». Принципиальная позиция парижской группы «Призыв» (Плеханов, Авксентьев, Аргунов и др.) как будто бы была намечена правильно. Резолюция сентябрьской конференции этой группы гласила: «Успех революционной демократии в ее борьбе за свои общесоциальные и политические требования будет зависеть от энергии ее участия в самозащите народа от неприятельского нападения. Путь, ведущий к победе, является и путем, ведущим к свободе». Но в преломлении с русской действительностью более

или менее безоговорочная, хотя бы чисто внешняя солидаризация с волной того поверхностного шовинизма, которая отмечена была выше, многими, очень многими в России, в лагере так называемых «оборонцев» признавалась вредной. По этому поводу я писал в Лондон П. А. Кропоткину в связи с появившимися фельетонами его в «Русских ведомостях». Его ответ говорил:

«Мне очень грустно, что со многим из того, что я сказал в «Русских ведомостях», вы не согласны. Вас, как и очень многих других, берет страх, как бы русский шовинизм не развился до того, что он станет опаснее германского империализма и германской жажды завоеваний. Мне же думается — вся история тому свидетель — что направления, берущие верх в русской жизни, зависят вполне от влияний, берущих верх в жизни Зап. Европы... Вот, если Германии удастся восторжествовать — тогда, да! Тогда ваши опасения осуществятся. С ее поражением этого почти наверное не случится...»[9]

Прав ли был Кропоткин? Теоретик анархизма подходил к русской жизни с высоты своей общей, довольно отвлеченной социологической схемы — соревнования латинской и германской культур и влияния их на развитие социалистической мысли. Эмигранты непосредственно не ощущали оборотной стороны медали.

Я говорю не о той обыденщине, которая многих рьяных «патриотов» влекла в сторону «самоокапывания» в тылу, а другим не мешала наживаться на войне. Я говорю о той фальши, которая получилась при общественных попытках сплотиться у подножия трона и которая оказалась чреватой последствиями.

---

[9] См. переписку со мной, опубликованную в «Monde Slave». Возможность переписываться без последствий во время войны свидетельствует отчасти, что правительственный режим не был уж так невыносим

2. Виновники неудачи

Первые военные неудачи повысили нервозность той части русского общества, которая безоговорочно пыталась слиться с правительством в своем патриотическом порыве. Легко было найти виновников поражения. Весь одиум пал на военное министерство. Виноват Сухомлинов, легкомысленно заверивший, что Россия готова к войне. Шовинистический угар еще не прошел, и поэтому так легко было брошено и подхвачено на первых порах обвинение в «измене». Эта «дичь», по выражению Л. Тихомирова, во время войны всегда принимается с доверием. Кого только не обвиняли в измене в дни русско-японской войны! То же было, конечно, и в эпоху мировой войны.

Будем обвинять Сухомлинова в чем угодно, но покончим раз и навсегда с теми несерьезными обвинениями, которые порождала лишь повышенность общественной психики. Сухомлиновское дело уже в революционную эпоху было поставлено на общественный суд. Конечно, обвинение в «измене» оказалось пуфом, хотя бывший военный министр ненавистного царистского режима в соответствии с неостывшими еще «революционными» настроениями в августе 1917 г. и был признан виновным в позорном преступлении. В обвинительном приговоре было сказано, что Сухомлинов сообщал полковнику Мясоедову, «заведомо для него состоявшему агентом Германии», сведения, которые «заведомо для него долженствовали, в видах внешней безопасности России, сохраняться в тайне от иностранного государства». Этим Сухомлинов «заведомо благоприятствовал Германии в ее военных против России операциях». Что однако останется от этой формулировки, если обратить внимание на то, что теперь, по моему мнению, можно считать неоспоримо доказанной не

только невинность самого Мясоедова[10], но и то, что он пал жертвой искупления вины других. На нем в значительной степени отыгрывались, и прежде всего отыгрывалась Ставка. То же было и в отношении Сухомлинова, на которого, по выражению Н. Н. Чебышева — одного из судей, Мясоедов давил тяжелым грузом в обвинительном смысле[11].

Временами чрезмерно осторожный в силу былой близости своей к великому князю Николаю Николаевичу, генерал Данилов и тот должен скорее согласиться, что Сухомлинов являлся «одною из искупительных жертв за грехи старой России».

Мне нет надобности защищать память Сухомлинова как военного министра. Сухомлинов, по выражению генерала Головина, был «хуже, чем невежественный человек» и проявлял «поразительное легкомыслие». Но так ли уже в действительности виноват Сухомлинов, по крайней мере, в легкомысленных бравадах: «мы готовы»? Что другое мог сказать публично накануне почти неизбежной войны военный министр? Сам Сухомлинов поясняет, что его прославившееся интервью, вызвавшее впоследствии такое негодование, появилось в печати с одобрения царя, который находил, что за границей нашу армию считают, очевидно, еще совсем не боеспособной и потому не находят нужным вообще с Россией церемониться. «Фанфаронадой», показанным кулаком думали «отрезвить алармистов по ту сторону границы»! Это было, возможно, несколько наивно. Сухомлинов от себя добавляет, что никогда Россия не была так хорошо подготовлена к

---

[10] Чрезвычайно характерные черты для «дела» Мясоедова можно найти в воспоминаниях Б. Б-аго «Суд над Мясоедовым» («Архив русской революции» т. XIV) и О. О. Грузенберга «Перед войной» («Современные записки», XXIV).

[11] Воспоминания Н. Н. Чебышева, напечатанные в №№ 1992, 1994 «Возрождения».

войне, как в 1914 г. — русская армия была обеспечена на шесть месяцев. Это почти соответствует действительности.

Надо ведь признать, что никто в мире не ожидал, что война может продлиться так долго. Немногие из военных авторитетов — вспоминает генерал Лукомский — допускали, что война затянется больше года[12]. Также рассуждали наши экономисты. Припомните научно обоснованные статьи А. А. Чупрова в «Русских ведомостях». Иначе ли думали политические деятели? «Все решительно говорили, — рассказывает Шидловский, — что больше 3–4 месяцев война продлиться не может. Мы отлично знали, что утвержденная Думой военная программа еще не существовала... но нас это ничуть не смущало, и мы горели в то время огнем так же, как и все другие». Родзянко в показании Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства ссылается на мнение лидера партии народной свободы, который «был убежден, что война будет продолжаться 8 месяцев». А вот голос из среды «левых» — Станкевича: Германская опасность представлялась ему «крайне незначительной», и он ожидал, что после выступления Англии «в пару недель война закончится». Поэтому, исходя из «принципиального пацифизма», Станкевич заявлял о «необходимости соблюдать духовный нейтралитет в борьбе» — «остаться самому в стороне». Даже в 1915 г. — свидетельствовал граф Игнатьев в показаниях перед Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства — осталось убеждение, что война скоро кончится. Очевидно, такое убеждение нельзя отнести только к числу «оговорок», как утверждал во время сухомлиновского процесса В. П. Носович.

Мало того, до объявления войны никто не ожидал ее, хотя была она почти на носу. Гиппиус правильно записывает в

[12] Среди скептиков был генерал Нокс, говоривший, что мировая катастрофа «может затянуться на шесть лет, а возможно, и больше».

дневнике: «Ожидала всего, только не войны!» Милюков с ироническим скепсисом относился к прогнозам Маклакова. Легко отвергались опасения Керенского, что принятие думской «малой» военной программы, с ассигнованием двух миллиардов на реорганизацию армии, может повлечь войну. Члены Государственной думы в «самом беззаботном и спокойном настроении» разъезжались по домам в конце июня, хотя после июньского негласного совещания чинов военного министерства с членами Думы для С. П. Мансырева было очевидно, что дело идет не о нормальном улучшении армии, а о готовности к могущей разразиться в ближайшем будущем войне. Убежден был в июне и Шингарев в том, что не миновать войны (показания в Следственной комиссии).

Обвинять только правительство в том, что оно преступно не подготовило страну к мировой войне, как это делал например А. И. Гучков в августовском московском Государственном совещании 1917 г., было бы возможно в том случае, если можно было бы доказать, что сама власть провоцировала войну. Я не могу рассматривать всю сложную конъюнктуру, приведшую к кровавому столкновению. Ограничусь поэтому ссылкой лишь на «поденную запись» министерства иностранных дел за 17 июля. Из нее мы узнаем, что будущий «изменник» Сухомлинов тщетно умолял царя согласиться на общую мобилизацию ввиду неизбежности войны и опасности для России оказаться неготовой. И только под влиянием настояний Сазонова Николай II согласился на принятие означенной меры...[13]

«Многое в этой войне вышло из предела человеческого разумения» — утверждала записка военно-морской комиссии в августе 1915 г. И, конечно, причины военных неудач были сложнее, нежели злая воля отдельных людей. В чем

---

[13] См. также воспоминания С. Д. Сазонова.

главным образом обвиняет наш авторитетный военный историк Сухомлинова? Я имею в виду генерала Головина. Пожалуй, в том, что Россия оказалась связанной «легкомысленно» данным Сухомлиновым обязательством перед союзниками. Но это обвинение уже иного порядка и гораздо более сложное, так как переносит вопрос в плоскость общей оценки плана военных действий и стратегических ошибок, в которых могли быть повинны многие.

Русское общественное мнение, питавшееся в это время больше слухами, упрощенно разрешало возникшие сомнения. Когда просматриваешь листки своего собственного дневника, то теперь ясно видишь, сколько злого и несправедливого сказано в нем, например, о генерале Самсонове и об операциях наших в Восточной Пруссии. А. Ф. Керенский и по сие время убежден, что все дело в вопиющей бездарности генерала Ренненкампфа. Неудача на Мазурских озерах превратила в свое время Гучкова в «революционера». Военный историк рассеивает перед нами тот «туман», которым были покрыты до сей поры действия 1 и 2 армий в Восточной Пруссии. В частности, Головин высоко оценивает вообще деятельность Ренненкампфа, который сумел прежде всего довести свои войска до «выдающейся боевой подготовки». И войска и сам командующий армией, по словам Головина, с полным напряжением сил выполнили все, что требовал главнокомандующий северо-западным фронтом. На стратегии русского театра военных действий тяжело отразилась обстановка, созданная во Франции «преступно-легкомысленным планом войны» — таков окончательный вывод специалиста. Часто решения верховного главнокомандующего диктовались «уже не интересами России, а интересами всего союза». Отсюда отчасти и вытекало то «накипающее неприязненное отношение наших военных кругов к союзникам», которое в письме к Сазонову (15 июля 1915 г.) отмечал из Ставки В. Н. Муравьев: союзников обвиняли в «бездействии».

Когда знакомишься с трудом Н. Н. Головина, приходишь к определенному выводу — не специалисту в области военных знаний надо отказаться от многих ранее усвоенных трафаретных суждений. Правда, некоторые выводы Головина оспариваются, но там, где спорят специалисты, еще не может быть места трафарету. Военные верхи не были подготовлены к ведению войны в современном большом европейском масштабе, но в то же время — утверждает военный историк — «в 1914 г. кадры русских войск должны быть поставлены на *первом* месте, как по сравнению с нашими союзниками, так и с противником». Ведь это надо так или иначе заносить в аттестат военного министра, сумевшего при всей своей «сервильности» прибрать к рукам довольно независимых и распущенных великих князей: «не справился я только с Серг. Мих.» (генеральный инспектор артиллерии), — говорит в своих воспоминаниях Сухомлинов[14], которого обвинение делало особо ответственным за непорядки именно в артиллерийском ведомстве. Николай II, мне кажется, имел право до некоторой степени написать опальному министру: «беспристрастная история вынесет свой приговор более снисходительный, нежели осуждение современников».

Конечно, недостаток снабжения являлся в значительной степени следствием «всеобщего заблуждения, что война не может длиться долго». Это отметил Кривошеин в одном из заседаний Совета министров. «Все расчеты мирного времени, — говорит генерал Лукомский, — оказались никуда негодными», а генерал Данилов утверждает, что «заготовленные в мирное время запасы могут служить обеспечением лишь на первый период войны». Вопрос, таким образом, переносится в область суждения о военно-промышленной под-

---

[14] Характерно, что в бытность Сухомлинова в Киеве местные правые круги обвиняли будущего военного министра в потворствовании «жидам и революции» (А. Сидоров. «Голос минувшего», 1918 г. № 4–6).

готовке России и общей отсталости нашей промышленности по сравнению с западно-европейской, которая не давала возможности с большей или меньшей легкостью найти скорый выход из создавшегося положения. Надо ставить вопрос еще шире, как ставил его в позднейшем докладе (февраль 1917 г.) генерал Кисляков: «Разрешение всех наиболее жизненных вопросов наших армий и даже самый успех их действий находится в непосредственной зависимости от состояния железнодорожного транспорта».

Взять любой вопрос — вопрос об упразднении крепостей, вызвавший столько недоуменных экивоков со стороны общества и ядовитых намеков в Следственной комиссии Временного правительства со стороны полковника Апушкина; вопрос о заказах военного снаряжения за границей — и придется вносить бесконечное число коррективов к установившимся во время войны представлениям. Многие из нас знали хотя бы то, что для выполнения американских заказов пришлось командировать в Америку русских конструкторов и мастеров? Значительна — очень значительна была роль, которую сыграли земско-городские союзы, военно-промышленные комитеты в помощи войне. Но нельзя преувеличивать во всех отраслях эту роль общественной инициативы, как склонны были подчас по тактическим соображениям делать руководители союзов (например, князь Львов в речи на земском съезде 9 декабря 1916 г.). Так обстояло, например, дело со снарядами. Генерал Маниковский, поддерживаемый в либеральных кругах, свидетельствовал письмом в «Новое время» (23 октября 1915 г.), что до этого времени военно-промышленные комитеты не доставили ни одного снаряда[15].

---

[15] В воспоминаниях Барта можно найти немало показательных примеров того, что некоторые «общественные» проекты с полным основанием успокаивались в архивных шкафах правительственных учреждений.

Я привожу эти данные вовсе не для оправдания правительственного режима. Режим был негодный — гнилой. Он не мог соответствовать грозным событиям, разыгравшимся на мировой арене. Царь будто бы сказал однажды: «Все мерзавцы кругом! Сапог нет, ружей нет — наступать надо, а нельзя»[16]. Трагедией было то, что общество не могло договориться с верховной властью и, пожалуй, своей часто безответственной критикой лишь толкало ее как бы в объятия так называемых «темных сил». Для тех, кто в это время искал единения с властью и воздействия на нее, тактика муссирования сухомлиновской «измены» была тактикой снова глубоко ошибочной. Мемуаристы передают, что Грей будто бы сказал в Лондоне главе думской делегации Протопопову: «Ну и храброе у вас правительство, раз оно решается во время войны судить за измену военного министра».

Какое в действительности впечатление получилось в стране? Левые политики пользовались этим поводом, чтобы агитировать и бить по правительству. В феврале 1915 г. по рукам ходит письмо Керенского к Родзянко по поводу измены, свившей себе гнездо в министерстве внутренних дел. Он сопоставляет работу «сплоченной организации действительных предателей» с «лживым официальным сообщением о том, что часть членов Государственной думы желала поражения русских войск» (дело касалось ареста социал-демократической фракции). Письмо проникает в круги учащейся молодежи и воспринимается ею с «обычной нервностью» (запись Каррика). В Петербургском университете

---

[16] Великий князь Андрей Владимирович удивляется, как могло артиллерийское ведомство в ноябре 1914 г. ответить, что надобности в снарядах не встречается, в то время, как из армии сыпались требования на снаряды. Кто виноват в этой «браваде»?! Из письма Сухомлинова Янушкевичу мы узнаем, как ответ этот возмутил военного министра. Он ставит три восклицательных знака и пишет, что заказ был дан. когда он пошел «на них (т. е. на ведомство великого князя Сергея Михайловича) войною». «Вот это сотрудники», — добавляет Сухомлинов. — Жаль, что они не работают на германскую армию».

происходит антиправительственная сходка. Большевики — подлинные пораженцы — две своих листовки посвящают специально делу Мясоедова. Слухи о измене ползут в народную толщу. В записях В. В. Каррика можно найти обильную серию легенд о «генералах-предателях», которых возят прикованными к одной цепи, о снарядах, приготовленных по образцам для германских пушек, и т. д. В деревне — передает Охранное отделение словами одного из уполномоченных по закупке продовольствия внутри России — говорят: «надо повесить Сухомлинова, вздернуть 10–15 генералов, и мы стали бы побеждать». Великий князь Андрей Владимирович со слов Бенкендорфа записывает в своем дневнике разговоры московских извозчиков: «Вся Россия знает, что генералы изменники, а то бы русские войска давно были бы в Берлине». После войны надо рассчитаться со всеми изменниками и предателями». «Когда я уезжал с фронта в 1915 г., — вспоминает Шульгин, — это был всеобщий голос: поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоедовых и Сухомлиновых, а были снаряды. Мы не хотим умирать с палками в руках».

И если то, что «говорили шепотом, на ухо, стало общим криком всего народа и перешло... на улицу (из речи князя Львова), то в этом повинно само общество». Оно само революционизировало народ, подчас не останавливаясь перед прямой, а иногда и довольно грубой демагогией.

3. Перемена настроений

Шли месяцы за месяцами. Долгие месяцы войны. Шовинистический дурман в массе проходил. В сущности, он никогда глубоко не захватывал низы. Недаром Каррик в своем Джанетове уже в первые дни войны отмечает «скрытое раздраженное состояние против господ», а другой современник в свой, неизданный еще дневник, 1 августа заносит: «Мне кажется, народ против войны».

Война обращалась к населению своей теневой стороной. Вся материальная тягость ее ложилась на необеспеченные

классы. Никогда этого не надо забывать. Классовые противоречия должны были обостриться. Пусть даже внешнее благополучие нашей промышленности, как доказывают некоторые экономисты, было только кажущимся. Но когда прибыль северо-кавказских нефтяных обществ возрастала на 99 %, восприятие рабочими этой прибыли не могло идти в сторону повышения чувств бескорыстного патриотизма. Если в Англии, где военная прибыль облагалась на 80 %, новые богачи, по словам Алданова, «мозолили глаза» (воспоминания в «Последних новостях»), в России это несоответствие должно было раздражать еще более.

Достаточно ярко такое настроение охарактеризовывает нам октябрьская записка (1916 г.) петроградского жандармского управления: «Безудержная вакханалия мародерства и хищений различного рода темных дельцов в разнообразных областях торгово-промышленной и общественно-политической жизни страны, бессистемные и взаимопротиворечивые распоряжения представителей местной администрации, недобросовестность… низших агентов власти на местах; и, как следствие всего вышеизложенного, неравномерное распределение продуктов питания и предметов первой необходимости, прогрессирующая дороговизна и отсутствие источников и средств питания у голодающего в настоящее время населения столицы и крупных общественных центров — все это... определенно и категорически указывает на то, что грозный кризис уже назрел и неизбежно должен разразиться в ту или иную строну». Записка констатирует, что «экономическое положение массы, несмотря на огромное увеличение заработной платы, более чем ужасно. В то время как заработная плата у массы поднялась всего на 50 % и лишь у некоторых категорий на 100–200 %, цена на все продукты возросла на 100–500 %».

Процитированная записка куда осторожнее, чем выводы историка революции. У П. Н. Милюкова можно прочитать

такие строки: «Один за другим широкие общественные слои переходили на содержание государства. Деревня не платила налогов и получала пайки. Рабочие не работали и получали быстро возрастающие оклады заработной платы... Громадная армия тыла, содержавшаяся на казенный счет, приучала народ к праздности и извлечению доходов из народного бедствия...» Ясно, что это заключение не может быть принято без существенных оговорок.

Едва ли может быть оспариваемо утверждение, что именно ухудшение экономического положения вызывает то приподнятое настроение среди рабочих, которое отмечает департаментская сводка уже в сентябре 1915 г. На этой почве пропаганда большевиков получает успех у рабочих. Растет пораженчество. Все чаще и чаще, и в городе и в деревне, правительственная агентура отмечает грозные крики: «долой войну» и жажду скорейшего мира. Упрощенно искать причину этих настроений только в немецких источниках, как делает то в своей истории Милюков. «Трудно отрицать — говорит упомянутая жандармская записка — возможность скрытой в такой благоприятной обстановке работы тайных германских агентов, уже давно и неоднократно возвещавших всему миру, что Россия — накануне революции, что Петроград более чем близок к вооруженному восстанию в целях добиться немедленного заключения мира», но центр тяжести революционной пропаганды, по мнению записки, лежит на деятельности «левых и иных противоправительственных групп». Как будто бы неоспоримая правда. Причем пораженцы типа большевиков, конечно, с самого начала, если не прямо, то косвенно работали на пользу германского военного штаба[17], ибо те, которые непосредственно были связаны с

[17] Шляпников отмечает, однако, что меньшевики высказывали подозрение о немецких деньгах уже в 1914 г.

большевиками, финские, например, «активисты», по признанию Шляпникова, добровольно служили шпионажу. Многие из эстонских и сионистких работников в среде с.-д. также «держали курс на немецкий генеральный штаб». Это было более естественно, что автономистский еврейский «Форветс» занимал во время войны ярко германофильскую позицию.

***

Если вслушаться в отдельные голоса современников, то получишь впечатление, что Россия уже осенью 1915 г. переживала полную катастрофу. На почве продовольствия, очередей и пр. растет погромное настроение, легко превращающееся в антиправительственные демонстрации или, точнее, потасовки с полицией, как это было, например, в Москве при беспорядках 14–15 сентября. Дело дошло до «баррикад».

Даже такой «мертвый город», как Петербург, и тот, по выражению Каррика, «буянит». В Москве «все бурлит» — докладывает в Совет министров министр внутренних дел Щербатов. Возможен взрыв беспорядков, а войск — жалуется министр — нет. Погромное настроение в Сибири — отмечает все регистрирующий Каррик. Продовольственные волнения можно указать, пожалуй, уже с весны 1915 г. почти в каждом городе[18].

Они всегда носят очень своеобразный характер — повсюду сопровождаются погромами, убийствами и «сражениями» с полицией. Начинает волноваться и спокойная прежде деревня. Специфической чертой является то обстоятельство, что официальные донесения нередко отмечают отказ солдат и казаков усмирять толпу. Стреляют городовые, и этот факт,

---

[18] Их можно отметить и раньше. В моем дневнике, например, отмечен бабий бунт на московских рынках 28 июля 1914 г.

как это было, например, в Москве и Кременчуге, задолго до революции, вызывает присоединение войска к толпе. Активной силой выступают выздоравливающие в военных госпиталях — их Щербатов называет «буйной вольницей».

Конечно, это были пока только единичные тыловые случаи, из которых поспешно было бы выводить заключение о начавшемся разложении армии. Между тем, такое утверждение можно встретить в литературе. В поисках причин, поясняющих явление, можно идти очень далеко. Можно согласиться с бывшим военным министром Временного правительства Верховским, что «разложение армии началось задолго до революции», или, по выражению Родзянко, для этого имелась «почва», Керенский склонен даже утверждать, что авторитет военного командования был разрушен до войны.

Несомненно, печальные явления в армии в дни революции в той или в другой степени наблюдались в течение всей войны. «Войска не хотят сражаться», — пишет с фронта уже 10 октября 1914 г. наблюдатель, склонный к обобщениям. Шульгин в своих воспоминаниях рассказывает о дивизии, которую называли «беговым обществом» — так она активно участвовала в боях. Было «самострельство». Массовую сдачу в плен отмечает одно из ранних писем (1914 г.) генерала Янушкевича Сухомлинову. Было немало случаев, свидетельствовавших о натянутых отношениях между офицерами и солдатами — и даже случаев «террора» на фронте против нелюбимых начальников. Отмечены из разных источников и случаи пораженческой пропаганды, братаний на Пасхе, наивного доверия к немецким прокламациям (одна из них была издана от имени «московского митрополита») и т. д. Явления эти неизбежно должны были учащаться на фронте. Растет дезертирство. Сколько было в действительности таких дезертиров? Никто не знает. Керенский исчисляет их к моменту революции 1.200 тысяч; Демидов, на основании данных

военной комиссии Государственной думы, доводит эту цифру до 2-х с половиной миллионов[19]. О «громадном размере» дезертирства говорит 30 июля в Совете министров генерал Поливанов. Дезертиры образуют шайки с атаманами и представляют такую общественную опасность, что министр внутренних дел Щербатов, в заседании Совета министров 6-го августа, не ручается за безопасность Царского Села. Надо, однако, иметь в виду, что те тысячи бродящих в придорожных лесах дезертиров, голодных, обозленных людей, о которых говорил Щербатов, конечно, в огромном проценте составляли «утечку» пополнений, приходивших эшелонами из запасных батальонов.

Современники всегда склонны обобщать и панически воспринимать отрицательные явления жизни. Так обобщали свои наблюдения те земские уполномоченные, отзывы которых о фронте передает Охранное отделение. Обобщая и подчиняясь настроениям момента, А. Ф. Керенский в свей речи на Московском совещании сказал: «Все знают, кому были открыты секреты армии самодержца всероссийского, что эта армия была на глиняных ногах и почти без головы». Не исправил Керенский своих обобщений и в воспоминаниях. Во французском их издании он пишет: «Армия все более и более уподоблялась недисциплинированной толпе». Как смог тогда генерал Алексеев говорить на том же Государственном совещании, что армия 1916 г. «сохраняла свой великий русский воинский дух»? Как могла морально развалившаяся армия в 1916 году развернуть «славные страницы»? Как могли обманываться представители иностранных военных миссий, доносивших с февраля по ноябрь 1916 г. о хорошем состоянии армии, о ее прекрасном настроении и утешительных перспективах на будущее? Может быть, только германскому

---

[19] Это — ходячая цифра, занесенная и мною в тогдашний дневник.

кронпринцу представлялось, что военное положение России в конце лета было настолько «плохо», что создавался благоприятный момент для заключения сепаратного мира? Как мог, наконец, так решительно заблуждаться лидер думской оппозиции П. Н. Милюков, о настроении которого в конце 1916 г. В. Д. Набоков рассказывает: «Основная позиция Милюкова по отношению к войне становилась все более и более решительная... и делалась непримиримее в отношении Германии. Я хорошо помню, какое впечатление произвел он на меня... когда телеграф принес известие о первых германских мирных предложениях. Для нас это было фактом потрясающего значения, прежде всего потому, что в нем блеснул луч слабой... надежды на возможность мира... Милюков сразу и решительно облил нас ледяной водой. Спокойно он заявил, что... единственное возможное реагирование на них — это категорическое и возможно резкое отклонение».

«Очевидно, — добавляет мемуарист, — только глубочайшая вера в победный конец и возможность для России вести войну... диктовали Милюкову такое отношение».

В русской армии, может быть, и не было энтузиазма, как о том свидетельствует сводка перлюстрированных писем за 1916–1917 гг. — 90 % относились как бы «безразлично» к войне, но армия сохранила свою мощь. Испытывая недостаток в тяжелой артиллерии, она была, по образному выражению генерала Маниковского, которое передает Шульгин, снабжена снарядами уже по расчету на Верден. Если в августе 1915 г. — может быть в самый трагический момент — генерал Данилов в разговоре с Сазоновым определял возможность окончательной победы двумя условиями: «чтобы мы не отчаивались и бодро переносили испытания и чтобы у нас не было революции», то накануне революции эти положения были еще жизненные.

Узел завязавшейся драмы лежал, конечно, не в армии, а в тылу, где озлобление масс (особенно в столицах) достигало

уже «исключительных размеров». Достаточно «провокационного сигнала, чтобы разразились стихийные беспорядки с тысячами и десятками тысяч жертв». В таких словах осведомитель Департамента полиции в конце октября 1916 г. передает мнение представителей рабочей группы центрального военно-промышленного комитета. Характерно, что в этом осведомлении говорится о жертвах, а не о торжестве революции. Сознание было далеко от подобной возможности, и только впоследствии от осени 1915 г. повелось революционное летоисчисление.

Глава II. Правительство и общество

1. Министерство доверия

То, что объективно, мне кажется, может сказать история, не воспринималось современниками. Дело ими представлялось более трагичным, чем это было в действительности. Подобное настроение достаточно ярко сказалось на собравшихся в сентябре 1915 г. земском и городском союзах. Информатор Охранного отделения приписывает М. М. Федорову прямое заявление: «Недалеко то время, когда штыки фронта повернут на Петроград, ибо имеются налицо все признаки, что мы накануне вооруженного восстания». Гучков, призывая на съезде к организации общественных сил, подчеркивал, что эта организация «нужна не только для борьбы с врагом внешним, но еще более — для борьбы с врагом внутренним, той анархией, которая вызвана деятельностью настоящего правительства».

Политический момент, причем не столько события, переживаемые на фронте, сколько события «внутри империи», побуждали организационную общественность «сделать последнюю попытку... открыть верховной власти глаза на то, что происходит в России, и на возможные ужасные последствия: призвать власть пойти на соглашение с требованиями общества необходимо для укрепления власти в целях защиты родины от революции и анархии» (слова Гучкова).

«Правительство поставило Россию над страшной бездной» (князь Львов). «Россия на краю гибели» (Челноков) — эта фразеология иногда искренняя, иногда искусственная; эти «страшные слова», заключаемые и в обращении к верховной власти, становятся боевым лозунгом дня.

На несколько запоздалое обличение «лжи старого порядка» направлена отныне «легальная» деятельность объединенных работой на нужды войны общественных организаций.

Политические требования цензовой земской и городской России солидаризируются с программой, выдвинутой образовавшимся в период летней секции Государственной думы парламентским «прогрессивным блоком», который объединил 300 депутатов (из общего числа 442) и группу академического центра Государственного совета»[20].

Основным пунктом опубликованной блоком декларации было «создание объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны и согласившихся с законодательными упреждениями относительно выполнения в ближайший срок определенной программы».

Блок «национального объединения» был, в сущности, слеплен довольно искусственно — видеть в нем «мобилизацию русского либерализма», как склонен был представлять дело Милюков в дни зачатия и организации блока, совершенно невозможно. В литературе подобная точка зрения имеет склонность как будто бы закрепиться. В юбилейном сборнике по случаю семидесятилетия П. Н. Милюкова М. И. Ганфман, между прочим, писал: «Блок был воплощением той идеи, которая всегда направляла Милюкова. Путем организации государственных сил он всегда стремился спасти страну от великих потрясений революции и направить ее по пути мирного постепенного осуществления начал свободы и права». М. А. Алданов пошел еще дальше: ему представляется, что блок «в случае удачи» должен был «без революционных потрясений провести к созданию свободной демократической империи».

Блок, который, по характеристике даже Охранного отделения, отнюдь не являлся «гражданской цитаделью», блок,

[20] На сентябрьском городском съезде А. И. Гучков так ставил вопрос: выходом из положения является скорейшее осуществление программы блока.

«демократизм» которого сам Милюков позже, в «России на переломе», оценил очень невысоко, конечно, и не ставил себе задачи демократизации власти. Представляя собой «конгломерат отдельных программ и требований», блок являлся довольно случайным и некрепким тактическим объединением, которое сходилось на отрицательном отношении к политике монарха и на признании, что без перемены в правительственном составе невозможно ни «остановить немцев», ни предотвратить «бессмысленного восстания»[21].

Блок, по выражению Шульгина, выбрал путь парламентской борьбы вместо баррикад, путь «суда» вместо самосуда: «наша цель была, чтобы массы оставались спокойными, так как за них говорит Дума»... Созданием блока правые «приковали кадет к минимальной программе... так сказать, оторвали их от революционной идеологии, свели дело к пустякам». Но — добавляет Шульгин — «кадеты, с другой стороны, вовлекли нас в борьбу за власть». Единомышленники Шульгина намеривались встать между улицей и властью, но неожиданно им приходилось задаваться вопросом: «сдерживают ли они или разжигают стихию, не скорее ли они своей тактикой дойдут до баррикад». Шульгину «всегда казалось, что сдерживаем». Как было в действительности, мы еще увидим.

***

Блок ежечасно трещал по швам, и дальнейшее существование его висело на волоске. Большие разногласия были и в левом фланге блока. Прогрессисты, в конце концов, ушли. Возрастало недовольство среди самих кадетов. Материалы политических донесений Департамента полиции дают нам

---

[21] Действительным инициатором блока, по-видимому, был не Милюков, а В. А. Маклаков. (Осведомители Охранного отделения инициаторами соглашения выставляют лидеров прогрессивной фракции Ефремова и Коновалова.)

богатый материал для суждений об этих настроениях. Это совершенно исключительные по ценности документы, так как они воспроизводят информацию осведомленных людей, проникавших в самую гущу той общественной среды, настроения которой они освещали перед Охранным отделением. Они нередко передают интимные или кулуарные разговоры и передают их в общем довольно точно. Некоторые из этих характеристик почти совпадают с тем, что мною самим записано в «дневнике» за эти годы[22].

На протяжении всех 1915–1916 гг. информаторы отмечают три главенствующие течения в партии народной свободы. Самое умеренное — это милюковское, ставящее своей задачей «совершить мирную революцию за спиною и санкцией самого правительства», усыпив его «внешними и чисто показными изъявлениями верноподданнического образа мыслей». Второе течение настаивает на лозунге ответственности министерства и протестует против сотрудничества с правыми в думском блоке. Третье — крайнее — выдвигает идею работы в народных массах и нелегальных действиях. Сами информаторы отмечают, что последнее течение, провинциальное — малозначительно. Спор идет между двумя фракциями, из которых находящаяся в оппозиции к лидеру доказывает, что ложная тактика приспособления к власти вырывает пропасть между кадетами и левыми кругами общества, которые могут явиться единственной реальной угрозой правительству. Это течение требует более решительной борьбы с правительством рука об руку с более левыми течениями.

Что отвечал своим противникам Милюков? Это не может не быть интересным, так как «ультраправительственная» так-

---

[22] Вся эта информация собрана в книге «Буржуазия накануне революции», изданной большевиками в 1927 г.

тика с известными, правда, оговорками победила на февральском съезде партии. Аргументация Милюкова полно изложена в речи, произнесенной еще на партийной конференции в июне 1915 г. Милюков исходил из предположений, что Дума соберется явочным, т. е. революционным порядком. Общество, занятое войной, не поймет такого вызова правительству и увидит в этом свидетельство политической незрелости или преступную затею, дающую опасный козырь в руки врагов России. Явочная Дума будет без труда разогнана правительством и «получится скверная копия выборгского восстания».

«Требования Государственной думы, — продолжает Милюков, — должны быть поддержаны властным требованием масс, другими словами, в защиту их необходимо революционное выступление... Неужели об этом не думают те, кто с таким легкомыслием бросают лозунг о какой-то явочной Думе?» Эти люди «играют огнем». Достаточно «неосторожно брошенной спички, чтобы вспыхнул страшный пожар... Это не была бы революция, это был бы тот ужасный русский бунт, бессмысленный и беспощадный, которой приводил в трепет еще Пушкина. Это была бы ... вакханалия черни... Это была бы волна той мути, поднявшейся со дна, которая погубила прекрасные ростки революции в 1905 г. Какова бы ни была власть — худа или хороша, но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо»... «Все, что в данный момент можно сделать, — заключил Милюков, — это стремительно раскрыть глаза правительству, языком неопровержимых фактов бороться с той министерской гнилью, которая ведет нашу армию к разгрому. Менее всего я оптимист, когда идет речь о правительстве, но у меня *есть основание заявить*, что правительство пойдет за страстно прозвучавшим голосом общественного мнения... и обновление кабинета и легальный созыв Государственной думы и без особого нажима станут фактором». Подобная уверенность приводила Милюкова к

отвержению для данного момента идеи ответственного министерства и заменяла ее неопределенной формулой «министерства доверия». Милюков очень упорно боролся за то, чтобы эта формула сделалась «общей тогдашней платформой». В своей тактике лидер кадетов «оказался более умеренным, чем... некоторые из октябристов и националистов».

***

Милюкову и его единомышленникам нетрудно было оказать влияние на умеренную земскую среду, где многие склонны были считать, что «игра и так заходит уже слишком далеко». Сентябрьская земская резолюция даже не говорила о министерстве доверия, ограничиваясь заявлением о необходимости возобновления Государственной Думы, которая «одна может дать незыблемую опору сильной власти». В более радикальном по своему составу съезде городов деятелям прогрессивного блока пришлось встретиться с более резкой оппозицией, находившей бесполезной посылку депутации к верховной власти, так как «время челобитных уже прошло...» Здесь нашла отклик программа трудовой фракции Думы, не входившей, конечно, в блок и настаивавшей на организации общества для политической борьбы. Победили, естественно, «умеренные», но тем не менее резолюция говорила о призвании на смену правительства людей, обеспеченных доверием народа[23].

Из кого же должно было состоять это «министерство доверия»? Мы увидим ниже, что составлялись уже списки общественных деятелей, которые могли бы войти в подобное

---

[23] Такая же борьба происходила и на позднейших мартовских съездах 1916 г. «Отечество в опасности» — остается лозунгом дня. Но по-прежнему «милюковцы» пытаются умиротворить «левое» течение и отвергнуть резкие резолюции. Разрыв с правительством невозможен. Влиянием Милюкова информаторы объясняют посылку городским съездом приветствия армии в лице государя.

министерство. Между тем в общественной среде до конца не было внесено ясности в понимании того лозунга, который был выброшен. Секретные информаторы вкладывают в уста Милюкова слова: «Вы только громче требуйте ответственного министерства, а мы уже позаботимся, какое в него вложить содержание». На упреки, что формулировка прогрессивного блока не соответствует программе конституционалистов-демократов, Милюков будто бы «буквально» отвечал: «Кадеты вообще это одно, а кадеты в блоке — другое. Как кадет, я стою за ответственное министерство, но, как первый шаг, мы по тактическим соображениям ныне выдвигаем формулу: министерство, ответственное перед народом. Пусть мы только получим такое министерство, и оно силою вещей скоро превратится в ответственное парламентское министерство».

Допустим, что у Милюкова была уверенность, что он своей тактикой достигнет многого, и что задуманный обход правительства покоится на реалистических основаниях. Не все кадеты, входившие даже в прогрессивный блок, разделяли такую уверенность и многие из них склонны были в лозунг «министерство доверия» вкладывать совсем иное содержание. «Министерство доверия» надлежало составить из либеральных бюрократических деятелей, общественники же уклонялись принимать на себя ответственность в сложной конъюнктуре войны и возрастающих революционных настроений. И действительно, «министерство доверия» из общественных деятелей, при невозможности во время войны перестроить весь правительственный аппарат, находилось бы в довольно безвыходном положении[24]. Было и другое соображение, которое высказывал Шингарев: «Мы должны страшиться того, что после войны, когда начнется строгий суд над преступным правительством, нам не был послан упрек, что

---

[24] См. ниже свидетельства из левого, социалистического лагеря.

мы сами оказывали ему поддержку и замалчивали его преступления»[25].

***

И еще одна показательная черта отличала проекты того времени. Требования созыва Государственной думы являлись органической частью в многочисленных резолюциях общественных организаций — блок, земский и городской союзы, военно-промышленный комитет — в период 1915–1916 гг. Попытка законодательствовать в порядке ст. 87 приводила, по мнению оппозиции, к краху. Казалось бы естественным, что общество, столь непосредственно вложившееся в дело войны, предъявляет правительству политические требования, желая участвовать не только в снабжении армии, но и в управлении страной... «Отечество в опасности»! «Ответственность за судьбы... родины должен принять на себя сам народ», который «законно» представлен в Государственной думе. Между тем в обстановке войны не могла не ощущаться парламентариями целесообразность ограничения парламентской деятельности — весь мир шел в те годы по пути ограничения прав представительства и усиления диктатуры правительства[26]. Только в России получалось «наоборот». Вот

---

[25] Позиция Шингарева, колебавшаяся между двумя течениями в партии, вообще приводила к неразрешимой двойственности. С одной стороны, Шингарев считал, что серьезная партия не может отказаться от поддержки правительства, находящегося в критическом положении; лишь важные события, как роспуск Думы, законодательство в порядке ст. 87, могли бы заставить партию выступить с протестом; задача партии — не дать возможности народному отчаянию прорваться раньше времени и в страшном взрыве похоронить победу над Германией. С другой стороны, Шингарев боялся «потерять чувство меры» и полагал, что в сохранении внутреннего мира нельзя изолироваться от «крайне левых течений», надо рука об руку с последними предупредить преждевременный взрыв.

[26] Любопытно, что проект Шингарева о введении предварительной цензуры был составлен в значительной степени под влиянием французской практики.

слова самого Милюкова в историческом аспекте: «Чтобы справиться со всеми... явлениями ненормального времени, нужна была действительно военная диктатура, в какую и превратилось мало-помалу управление таких демократических стран, как Англия и Франция. У нас эти же самые явления создали для власти и закона обстановку полного бессилия... Они были причиной того, что умеренные элементы, понимавшие значение усиления власти для благополучного исхода войны, пошли на революционный переворот».

В России длительная сессия Думы могла быть особенно чревата последствиями. С полным правдоподобием информаторы правительства регистрируют откровенное мнение Шингарева, высказанное в кулуарных разговорах во время сентябрьского земского съезда: «...роспуск Государственной думы вывел кадет из серьезного затруднения; ведь уже все вопросы, относившиеся к войне, были решены... поневоле приходилось перейти к обсуждению... социальных вопросов... а при решении таких вопросов на практике, неминуемо последовал бы развал блока». Поднимать эти «социальные вопросы» было еще опаснее, учитывая настроение масс. Отсюда естественно напрашивался вывод: нужно добиваться министерства, пользующегося общественным доверием, — тогда отпадает и необходимость созыва Думы. В моем дневнике за июнь 1915 г., когда впервые встал вопрос о применении власти, как слух из авторитетного источника, записано: уходят Горемыкин, Маклаков, Щегловитов и др. Затем Думы не будут созываться... Я предчувствую возражения и заранее могу их отпарировать указанием на то, что уже накануне революции, с согласия прогрессивного блока, была сделана попытка осуществить такой проект, и Маклаков вел ответственные переговоры с министрами Покровским и Риттихом. Намеки на эти переговоры имеются в воспоминаниях

Шульгина[27]; вероятно, и В. А., начавши печатать свои воспоминания, подробно расскажет об этих переговорах.

Как будто бы можно сделать определенный вывод: дореволюционная, либеральная в широком смысле слова, общественность во время войны не имела строго продуманного плана действий. Ее атаки на правительство не всегда были последовательны. Ее шаги были противоречивы. Она вращалась в заколдованном кругу колебаний между поддержкой власти и ее штурмом, между успокоением стихии и ее возбуждением.

***

Левые политические крути в нашем повествовании почти отсутствовали. Мы почти не видим и их действий за кулисами в тех общественных комбинациях, о которых шла речь. Мы ощущаем только недовольство этими комбинациями. Рассказывают нам, например, секретные информаторы о бурном совещании московской адвокатуры в сентябре 1915 г., на котором со стороны значительной части ораторов раздавалась резкая критика тактики думской и земско-городской среды. Я предпочитаю не пользоваться личными воспоминаниями, а обращаться, когда возможно, к источнику как бы официальному. Он повествует: «все переговоры бледно-розовых либералов с правительством завели общество в тупик; собственно говоря, все эти переговоры есть систематический обман и отвлечение общественного внимания от истинного положения вещей. Обществу внушают уверенность, что правительство пойдет на уступки, когда совершенно ясно, что этого не будет, пока к лицу правительства не будет поднесен увесистый кулак. Поднести же этот кулак

---

[27] Отчасти и в показаниях Родзянко — только последний, очевидно, не был посвящен в закулисную сторону вопроса.

может только демократия, а не либералы, которые умеют лишь «шаловливо играть пальцем». Быть может, настал момент, когда русскому обществу следует задуматься над вопросом: что неотложное... уничтожение немца внутреннего или же немца внешнего, и настоящими событиями ответ напрашивается сам собою: именно немец внутренний не дает нам разбить немца внешнего».

Это — изложение взглядов не пораженческого крыла левой общественности, а тех, которые говорили о победном конце. Элементарная психология пораженцев и их грубая тактика была ясна и определенна: при стихийной революции не осуществятся «кадетские вожделения», стихийная революция создаст почву для освобождения России от «царизма» и превращения ее в государство, «построенное на новых социальных основах». Для социалистов не с такой безответственной, примитивной психологией, для социалистов типа Плеханова, Кропоткина и Чайковского, которые не могли с точки зрения эфемерного интернационализма отбрасывать предрассудок патриотизма, вопрос о революционном действии во время войны не разрешается так просто. С наибольшей прямолинейностью их взгляд был выражен в воззвании упомянутой группы «Призыв» — революционное действие равнялось бы «измене». Поэтому «оборонцы» — совершенно основательно замечает большевик Шляпников — должны были воздерживаться от пропаганды в войсках. Было, правда, общее убеждение, что после войны надо ждать революции. Но при невозможности солидаризироваться с тактикой заигрывания с правительством оставалось в значительной степени только выжидать. Надо признать, что это ставило государственно мыслящих социалистов часто, действительно, вне тех непосредственных интересов, которыми жила страна.

Тактика блока, конечно, привела к тому, что расстояние между умеренными и левыми еще более увеличилось.

Русская общественность в дни, когда с кафедры ораторы так легко говорили о том, что Россия на краю гибели, оказалась столь же раздробленной, как и в прежние годы. Начальник Московского охранного отделения Мартынов в донесении Департаменту полиции сообщает о попытке группы рабочих (70 чел.) проникнуть на объединенное заседание сентябрьских съездов. Член Государственной думы Дзюбинский просил допустить депутацию рабочих с правом совещательного голоса. Ходатайство это было отвергнуто по формальным основаниям. Рабочие вынесли резолюцию, осуждающую действия «либеральной буржуазии», и передали в президиум съездов требование о созыве Учредительного собрания[28].

Приходится ли сомневаться в том, что не одни только «формальные» соображения послужили поводом для отказа рабочим участвовать в объединенном совещании. Появление рабочих означало бы выступление на политическую сцену «улицы». Этого боялись.

2. Верховная власть

Как реагировала верховная власть на общественные требования? Я буду говорить только о верховной власти, так как она являлась, в конце концов, ответственной за тот министерский «идиотизм», о котором в свое время говорил Милюков. Против этой верховной власти были направлены дворцовые заговоры, рассказу о подготовке которых будут посвящены последующие страницы. Что же касается самого правительства, то с момента опубликования в «Архиве русской революции» И. В. Гессена записей Яхонтова о заседаниях Совета министров под председательством Горемыкина летом и ран-

---

[28] Информаторы отмечают выступление Керенского в кулуарах; он убеждал прекратить забастовку, как не имеющую политического значения, и доказывал необходимость внутренней организации; когда рабочие будут представлять собою политическую силу, тогда буржуазия не посмеет отклонить участие их в политических совещаниях.

ней осенью 1915 г., т. е. в ту пору, когда общественное недовольство достигло особого напряжения, приходится сказать, что критическое положение Совета министров находилось даже вне зависимости от его персонального состава. (Этих интереснейших записей мы коснемся ниже в другом контексте.)

Что сказать о том правительстве, которое само в лице своих отдельных представителей, на официальном заседании Совета министров 17 августа, признает: «Прямо чудовищно все, что происходит» (Кривошеин). «Правительство висит в воздухе, не имея опоры ни снизу, ни сверху» — заявляет Сазонов 10 августа. Положение безвыходное, и никто иной, как сам премьер Горемыкин, говорит: «Какая в Совете Министров кислятина». Как будто бы министр внутренних дел кн. Щербатов находит правильный выход: «Мы все вместе непригодны для управления Россией при слагающейся обстановке. Там, где должны петь басы, тенорами их не заменишь... Нужна либо диктатура, либо примирительная политика... Наша обязанность сказать государю, что для спасения государства от величайших бедствий надо вступить на путь направо или налево. Внутреннее положение страны не допускает сидения между двух стульев».

Диктатура? Она так естественно напрашивалась. Ее требовали крайние монархисты: «не Дума нужна, а диктатура» — телеграфировал из Астрахани небезызвестный Тиханович 11 сентября 1915 г. Возникали в правительственной среде и реальные планы установления единоличной диктатуры в тылу. Такой план был представлен начальником штаба верховного командования в июне 1916 г. Алексеев писал в своей докладной записке: «Как на театре военных действий вся власть сосредоточивается у верховного главнокомандующего, так и во всех внутренних областях империи власть должна быть объединена в руках одного полномочного лица, которое возможно было бы именовать верховным министром государственной обороны». Алексеевский проект вызвал

решительное возражение с двух противоположных сторон — со стороны Штюрмера и Родзянко. Писала и Александра Федоровна мужу по поводу слуха о назначении на пост диктатора в. кн. Сергея Михайловича, переданного ей Штюрмером со слов Родзянко: «Я уверена — говорила она — что ты никогда бы не назначил на такое место великого князя». Родзянко приписывает себе честь устранения опасности возникновения диктатуры. Он «выиграл позицию», воздействовав на самолюбие царя и убедив его, что с назначением великого князя он умалит свое достоинство. В воспоминаниях (текст «Былого») Родзянко рассказывал несколько по иному и угрожал царю больше примером Юаншихая в Китае, провозгласившего себя президентом китайской республики, что может «показаться довольно соблазнительным для вновь испеченного диктатора». Мне кажется, что здесь дело было не в самолюбии — скорее царь уступил общественности, которую в его глазах представлял председатель Думы. Родзянко поднял вопрос об ответственном министерстве, и царь обещал подумать[29].

Выхода фактически не было найдено, так как политики примирения, на которую, как на другую альтернативу, указывал кн. Щербатов, верховная власть, колебавшаяся между разными влияниями, последовательно держаться не могла.

---

[29] В связи с планами введения «военной диктатуры» стоял отчасти и вопрос о милитаризации рабочего труда. Он обсуждался в сентябрьских (1916 г.) заседаниях Особого Совещания по продовольствию и встретил резкие возражения со стороны, между прочим, горнопромышленников, находивших, что военное министерство не должно касаться «внутреннего распорядка в отношении фабрикантов и заводчиков к рабочим». Против проекта питания военным ведомством работающих на оборону выступили равным образом Струве, Шаховской, Громан и др. Сам по себе проект, конечно, был целесообразен. Любопытно, что, по словам Палеолога, вступить на этот путь царю советовали Тома и Вивианд. Но западно-европейская практика не всегда подходила к русской действительности.

Ей было недоступно то искусство управления, которое, по образному выражению ген. Вильямса, заключалось в том, чтобы иметь во время войны бархатную перчатку на железной руке. Констатированием этого факта и приходится ограничиваться. Слишком сложным было бы рассмотрение психологии взаимных отношений «безвольного» царя и «властной» царицы, которая не могла примириться с тем, что в России имеется конституция. Окружавшая их болезненная мистика, захватившая и двор, лишь углубляла разрыв между верховной властью и обществом. Только в мистическом трансе можно было написать то, что говорила Александра Федоровна в письме 5 декабря 1916 г., убеждая царя не идти на уступки: «Так же упорно, как они, т. е. как Трепов и Родзянко (со всеми злодеями) на одной стороне — так я — в свою очередь, стану против них (вместе со святым божьим человеком) на другой. Не поддерживай их, держись нас, живущих исключительно для тебя, Бэби и России... тогда все будет хорошо. В «Les Amis de Dieu» один из божьих старцев говорит, что страна, где Божий человек помогает государю, никогда не погибнет...».

Я не буду говорить ни о «вакханалиях» власти, ни о том ее «садизме» (термин, употребленный А. И. Деникиным), которые дали право В. И. Гурко закончить свою книжку «Царь и царица» словами: «Можно с уверенностью сказать, что и без происшедшего, благодаря Распутину, резкого изменения путей и способов достижения власти, крушение русской государственности, при том нравственном разложении правящего строя, которое столь ярко выявила распутинская эпопея, было, во всяком случае, не за горами». Я не буду говорить, потому что отмеченное Гурко влияние не имело характера вчерашнего дня, да и слишком много патетического написано уже по этому поводу. И здесь, пожалуй, нужны

только коррективы[30]. «Мракобесие революцинизирует страну повально» — записывает моряк Ренгартен в свой дневник 10 января 1917 г.

То было лишь настроение момента, которое заставляло гораздо острее воспринимать обычное, мимо чего прежде проходили спокойно.

***

Нельзя сказать, что Николай II совершенно не считался во время войны с общественными требованиями... Большевистская историография полагает (и не только она), что «министерская чехарда» (выражение Пуришкевича), которой отмечено предреволюционное время, показывает, что царское самодержавие держало курс направо, не считаясь с черножелтым блоком, т. е. «прогрессивным» (Шляпников). Вывод, как будто бы следовало сделать противоположный. «Безумная», по характеристике Набокова, «министерская чехарда» — результат скорее уступок, правда, не достигших целей и часто неудачных по существу. Сам царь пишет 9 сентября 1916 года: «От всех этих перемен голова идет кругом. По моему, они происходят слишком часто. Во всяком случае, это не очень хорошо для внутреннего состояния страны».

При каждом напоре со стороны общественности верховная власть шла более или менее на уступки. Так было после военных неудач в 1915 г. Без оговорок признавал это Милюков в своей ноябрьской (1916 г.) речи в Думе: «Власть пошла тогда на уступки, ненавистные обществу министры были то-

[30] Вот хотя бы пример: В. Л. Бурцев, проповедовавший всегда открыто крайние меры борьбы с правительством, вплоть до цареубийства, с началом войны всецело отдался патриотическому порыву. Бурцев приехал в Россию и... попал в Сибирь. Ненавистный общественности Щегловитов хотел его помиловать, этому противился либеральный Джунковский. Однако в конце 1915 г. Бурцев жил уже в Петербурге.

гда удалены до созыва Думы»... Генерал Данилов рассказывает, что 27 июля в Ставке под председательством царя происходило совместное заседание главного командования с Советом Министров и было решено созвать Государственную думу, чтобы «выслушать голос земли русской». Это решение рассматривалось как обещание царя изменить реакционный курс правительственной политики: царь в то время, по словам ген. Поливанова, стоял за «общественность», как определенно явствует из его программной речи 23-го августа при открытии в Зимнем дворце совещания по обороне с представителями Думы, Государственного совета и общественных организаций. (Август, по словам Родзянко, был расцветом правительственного либерализма.)

Саблер, Щегловитов, не говоря уже о Сухомлинове, были отставлены. Устранены были, таким образом, наиболее враждебные общественности министры, о которых можно было говорить, что они подготовляют конституционный coup d'etat[31].

В новом министерстве, та исключением, быть может, Горемыкина, не было ни одной одиозной для общественности фигуры. Заместителю Сухомлинова, ген. Поливанову, либеральная общественность явно покровительствовала[32];

---

[31] Сухомлинов был предан суду, и Александра Федоровна одобрила этот акт. Дума, и в частности Милюков, впоследствии негодовала за то, что министру, которого «страна считала изменником» и над которым было назначено следствие, тюремное заключение было заменено домашним арестом. Александра Федоровна настаивала перед мужем, чтобы старого, надломленного человека, просидевшего шесть месяцев в тюрьме («срок достаточный за все его вины» — писала она: «он не шпион»), освободили и держали «дома под строжайшим надзором, не поднимая шума». На чьей стороне в данном случай была элементарная справедливость?

[32] Его «заслуга» как военного министра впоследствии чрезвычайно преувеличенно была оценена Гучковым в показаниях Следственной комиссии. Кстати уже необходимая поправка. Гучков говорил, что назначение Поливанова было встречено очень неодобрительно «наверху».

Кривошеин, игравший, по выражению Поливанова, главную роль в примирении с обществом, считался либеральными кругами наиболее даже подходящим кандидатом на пост Председателя Совета Министров; его слушали и на верхах — по крайней мере, по словам гр. Игнатьева, все министерские назначения к лету 1915 г. были сделаны под влиянием Кривошеина. В результате «кадеты — сообщают закулисные информаторы — считают возможной работу с правительством, при условии обязательного ухода Горемыкина».

Причины последующих министерских смен были гораздо сложнее и запутаннее, чем это изобразил Милюков в показаниях Следственной комиссии Временного правительства. Останавливаться на них я не могу, но показательно, что на мартовском (1916 г.) городском съезде Милюков упорно повторял, что министерство доверия имеет все шансы осуществиться, несмотря на неудачу августовского совещания министров с представителями блока на квартире государственного контролера Харитонова — человека, имевшего близкие сношения с кн. Львовым.

В конце концов Горемыкин, пытавшийся «развалить» блок и устроивший летом 1916 г. неудачное чаепитие с лидерами правой части блока для того, чтобы выслушать от них, что ему надо уйти[33], был отставлен и заменен Штюрмером. Эта замена — утверждает Мансырев — признавалась также победой блока. Трудно даже этому поверить. Потом многое забывалось. Забылось, например, то, что блок первоначально назначение Протопопова министром внутренних дел рассматривал опять-таки, как свою победу.

Переписка Николая II с Александрой Федоровной устанавливает, что Поливанов после Сухомлинова являлся кандидатом именно царицы.

[33] К этому времени относилось письмо Родзянко к Горемыкину, в котором председатель Думы призывал: «Имейте мужество... уступите место более молодым силам».

***

История с Протопоповым так показательна, что я остановлюсь на ней несколько подробнее. Прежде всего напомню, что Протопопова нельзя представлять себе ставленником исключительно Распутина, ведь кандидатура эта была указана самим Родзянко царю в июне 1916 г. (правда, не на пост министра внутренних дел). Относясь скептически к советам председателя Думы («Родзянко болтал, разумеется, всякую чепуху» — пишет Николай II жене), царь вспомнил, однако, что «наш Друг упоминал, кажется, как-то о нем». Репутация Протопопова к моменту, как он был назначен министром внутренних дел, т. е. 16 сентября 1916 г., очень мало соответствовала тому одиуму, который она получила через месяц. Протопопов перекинулся в чужой стан — и этого ему простить не могли.

Летом 1916 г. Протопопов стоял во главе заграничной парламентской делегации. Тогда этот «ловкий человек», в сентябре объявленный невменяемым, почти сумасшедшим, сумел очаровать всех государственных деятелей Европы и членов самой делегации. Этого не отрицает и Родзянко. На интимной беседе Протопопова с ответственными членами Думы на квартире Родзянко 19 октября, Милюков, со своей стороны, говорил: «Я должен признать, что у нас с А. Д. Протопоповым установились, действительно, дружеские отношения во время нашей общей поездки, которая не давала основания думать, что Протопопов поступит так, как он поступил». Итальянский корреспондент «Русского слова», один из будущих руководителей протопоповской «Русской воли», Амфитеатров, в весьма повышенных тонах рассказывал 28 июня читателям газеты, какое впечатление произвела парламентская делегация в Италии: «На первом плане надо поставить аристократический такт, неисчерпаемую любезность и ясную манеру выражаться Протопопова, который

буквально очаровал римское общество всех его классов, и редко видел я человека, которого бы Рим полюбил так быстро и так сердечно».

Мансырев вспоминает, что назначение Протопопова приветствовалось печатью почти всех направлений — от «Речи» и «Дня» до «Нового времени». Это недалеко от истины. С большей или меньшей сдержанностью это назначение отмечалось сочувственно. Бикерман в «Дне» и Жилкин в «Русском слове» говорили против демократического доктринерства, заставлявшего морщиться, когда прогрессивных людей призывают к власти. Бывший трудовик Жилкин писал: «Назначение Протопопова открыло окошечко, конечно, не к русской общественности, а к русской промышленности и притом с самого правого уголка. Если от бюрократии власть должна клониться к буржуазии, то, в лице Протопопова — первый вынужденный кивок к ней... И, может быть, для русской буржуазии не праздным занятием будет готовить дальнейших кандидатов для власти».

Биржа ответила на назначение Протопопова повышением бумаг. Торгово-промышленная и финансовая организации слали телеграммы новому министру. Приветствовали его и за границей. Назначение Протопопова рассматривалось как начало эры примирения правительства и общества. Так расценивал назначение и министр народного просвещения гр. Игнатьев — это была «первая ласточка»: в министерство впустили члена Государственной думы. Бывший редактор «Биржевых ведомостей», Гакебуш, превратившийся во время войны в Горелова и перекочевавший в «Русскую волю», друг Штюрмеровского alter ego Гурлянда, преподнес своему патрону икону[34].

[34] Это не помешало ему в позднейших эмигрантских воспоминаниях («Вино власти» — М. Кусторубов) обильно поливать грязью создателя «Русской воли».

Секретные информаторы передают нам о конспиративных собраниях на квартире А. И. Коновалова в Москве, которые происходили 5–9 октября, т. е. почти через месяц после назначения Протопопова. Там говорили о назначении Протопопова и признавали это назначение «колоссальной победой общественности, о которой несколько месяцев тому назад трудно было мечтать». Коновалов выразился так: «Капитулируя перед обществом, власть сделала колоссальный, неожиданный скачок... Для власти эта капитулянта почти равносильна акту 17 октября. После министра октябриста не так уж страшен будет министр кадет. Быть может, через несколько месяцев мы будем иметь министерство Милюкова и Шингарева. Все зависит от нас, все в наших руках».

Осторожный в публичных выступлениях Гучков, находившийся в дружественных отношениях с Протопоповым, в интервью с журналистами ограничился словами: «У Протопопова — хорошее общественное и политическое прошлое. Оно — целая программа, которая обязывает. Вот все, что я могу сказать».

Казалось бы, ауспиции были скорее благоприятны, и Николай II с полным правом на докладе тов. председателя Думы о вступлении его в должность министра внутренних дел мог написать: «Дай Бог, в час добрый». Царь шел на уступки оппозиционной общественности — по крайней мере это могло ему казаться: на докладе министра 31 октября он написал: «Надеюсь, что только крайность заставит прибегнуть к роспуску Думы».

Протопопов «вонзил нож в спину» думской оппозиции. «Протопопов — говорил Милюков на упомянутом собрании 19 октября — вступил во власть не как известная личность, а как член определенных политических сочетаний. На него падает отблеск политического значения той партии, к которой он принадлежит, и того большинства, к которому его

причисляли. Его считали членом блока». Заседание у Родзянко закончилось попыткой убедить Протопопова отказаться от поста. «Вы ведете на гибель Россию. Не мешайте», — говорил ему Милюков. «Я сам земец, и земства пойдут со мной», — отвечал Протопопов. «Я могу вам на прощанье дать медицинский совет», — заключил Шингарев: «Ложитесь спать и отдохните»[35].

Был ли Протопопов «душевнобольным» в месяцы своего министерства? Здесь нужна психиатрическая экспертиза. Некоторое «фиглярничание» Протопопова, странные изгибы и наскоки мысли свидетельствуют о какой-то душевной неуравновешенности. Шингарев определял болезнь Протопопова, как «психостению». Но Милюков несколько покривил душой (это вытекает из приведенных выше фактов), когда в речи 1 ноября говорил о хорошо известной старым знакомым Протопопова черте — «его неумении считаться с последствиями своих собственных поступков». Та общественность, которую представлял Милюков, оценивала прежде Протопопова иначе. Нельзя не согласиться с Заславским, попытавшимся дать в «Былом» психологический облик Протопопова, что последний в период допросов Следственной комиссии Временного правительства, может быть, сознательно поддерживал свою репутацию не совсем нормального человека, охваченного религиозной манией. На следствии Протопопов действительно «очень искусно лавировал, путал, давал неопределенные ответы». Играя в искренность и наивность, он в то же время ничего существенного не говорил...[36]

---

[35]Стенографическая запись этой беседы помещена в приложении к книге Шляпникова «Канун семнадцатого года».

[36] Впрочем, на допросах с Протопоповым держались отнюдь не как с больным. Например, допрос 21 апреля — это большой политический спор председателя Комиссии с допрашиваемым.

Чем объясняется метаморфоза Протопопова? Было ли его увлечение «миссией» спасти Россию результатом сумасшествия, как полагал Родзянко, или простым приспособлением к обиходу той «прихожей», через которую он проходил на пути к министерскому креслу? Для Гучкова (показания Следственной комиссии) Протопопов пошел в другой лагерь только ради карьеры.

Нужен, повторяю, специальный анализ для того, чтобы ответить на вопрос о душевной болезни Протопопова. Характеристика Заславского не может удовлетворять, так как современный большевистский облик этого писателя заставляет его подходить с определенной специфичностью ко всем явлениям нашего дореволюционного прошлого.

Мистика особенно привлекала царицу. Появлялась вера в человека. И когда царь отмечал в письме к жене 10 ноября, что Протопопов «хороший, честный человек, но он перескакивает с одной мысли на другую и не может решиться держаться определенного мнения... говорят, что несколько лет тому назад он был не вполне нормален после известной болезни» (когда он обращался к Бадмаеву), что «рискованно оставлять в руках такого человека министерство внутренних дел в такие времена», «Солнышко» отстаивала Протопопова, который «честно стоит за нас». С болезненною уже мнительностью Александра Федоровна видела в общественной оппозиции только стремление дискредитировать все, что близко к царской семье. И когда Протопопов говорил: «Я чувствую, что не могу быть полезен, потому что я заплеван», доверие к нему вырастало, — это была соломинка для утопающих.

***

«Не думаю, что этим кончится: они по одному удалят всех тех, кто тебе предан; а затем и нас самих», — эти слова Александры Федоровны были гораздо реалистичнее в обстановке

1916 г, чем «слово правды», которое земцы, не вполне отдавая себе отчет в возможных перспективах, будто бы «осторожно несли из глубины народного сердца к престолу». (Из речи Львова на съезде 9 декабря 1916 г.)

Поскольку речь идет об осени 1916 года, когда вопросы войны в общественном сознании отошли на задний план и внимание было поглощено гораздо больше внутренней политикой, то запрещение министерства внутренних дел поднимать на земско-городских съездах вопросы об изменении состава правительства нельзя сопоставить с нежеланием Маклакова в 1915 г. разрешить созыв съездов, так как земско-городские деятели стремятся подготовить революцию — с нежеланием, которое так возмутило непосредственного и, пожалуй, несколько наивного Родзянко.

Съезды 1916 г. — это революционизирующее страну действие и гораздо более сильное, чем та или иная политическая забастовка рабочих. Отсюда растет к ним враждебное чувство на верхах.

Трудно определенно сказать, возможно ли было на монарха оказать соответствующее воздействие? Родзянко казалось, что царь его слушает. Представление о Николае II приходится сильно изменить после всего того, что теперь опубликовано. Иногда кажется, что часть вины и на той общественной среде, которая пыталась оказать это воздействие и в целях успешного окончания войны, и в целях избавиться от наступающих призраков революции. С этими ошибками — с тем, что можно назвать «политиканством» общественности, мы встретимся впереди.

У царя, в годы войны, очевидно, не было отталкивания от Думы, которая становилась на пути его самодержавия. Он говорил Родзянко, что прием, оказанный ему в Думе, произвел на него «чарующее впечатление», и говорил это «искренне» («Я за шесть лет моего председательства, — добавлял

в Следственной комиссии Родзянко, — изучил его и знал, когда он говорит искренне и когда нет».) Однако в посещении царем Думы увидали только «маневр», внушенный Распутиным. Для оппозиции это было, по выражению Милюкова, сюрпризом довольно неожиданным[37].

Несомненно, сильно преувеличено и представление о совершенно исключительном политическом влиянии находящегося при дворе «Друга». Хлесткая фраза Гурко на сентябрьском съезде, основанная на игре словами, о необходимости «власти с хлыстом, но не такой власти, которая сама находится под хлыстом», должна быть в значительной степени отнесена к обычным демагогическим приемам общественной агитации. Далеко не всегда Николай II так сильно и послушно следовал указаниям «божьего человека». Он писал, например, 6 сентября 1916 г.: «Мнения нашего Друга о людях бывают иногда очень странными... поэтому нужно быть осторожным, особенно при назначении на высокие должности». По поводу отставки Протопопова он пишет еще решительней: «Только прошу тебя, не вмешивай нашего Друга. Ответственность несу я и потому желаю быть свободным в своем выборе».

Николай II не был, конечно, свободен в своем выборе. Давила и правая общественность, которая грозно внушала: пошатнется власть царская и погибнет Россия, разодранная партийными распрями (телеграмма царю одесского «Союза русского народа» 27 августа 1915 г.). Увы! Она пока в значительной степени оказалась правой, как прав был и тот народоволец, который сменил вехи и который записал в свой

---

[37] Характерный штрих. Когда Хвостов сказал Милюкову, что вопрос о созыве или несозыве Думы осенью 1916 г. будет зависеть от того, пойдет ли в Думе речь о Распутине, Милюков, не колеблясь, сказал: «...для меня Распутин — не самый главный государственный вопрос... я буду говорить о вопросах более важных».

дневник: «Монархия идет к гибели, а без монархии у нас лет 10 неизбежна резня». И царь, может быть, действительно искренно не желавший реакции, как думал в 1906 г. Лев Тихомиров, ставил на известной киевской записке, представленной ему через Щегловитова в январе 1917 г., пометку: «Записка достойная внимания». Достойно внимания — еще не значит определенное решение. Иначе Марков 2-й не жаловался бы на то, что царь не учитывает серьезности положения и не идет за призывами марковских и дубровинских союзников.

3. Сепаратный мир

Личность Николая II сыграла огромную роль в настроении русского общества. «Передовое русское общественное мнение — говорит Набоков — изверилось в царе и постепенно пришло к сознанию, что нельзя одновременно быть с царем и с Россией». Набоков называет его «слабым, ничтожным, двуличным человеком». Создавалось впечатление, что царь под влиянием германофильски настроенных кругов пойдет на сепаратный мир.

Нехорошее это слово — германофильство. Во время войны ему придается специфическое значение. Между тем идея мира вовсе не вытекала в правых кругах из каких-то особых симпатий к Германии. Было, конечно, такое течение. Октябрьская записка петроградского Охранного отделения (1916 года) его отмечает. По мнению этих правых, «война стала непопулярной в народе из-за того, что самодержавная Россия воюет за свободу республики и конституционных монархий с Германией, имеющей схожий с Россией образ правления». Из симпатий ли к Германии исходил Дурново в своей пророческой записке в феврале 1914 г.? Он действительно предсказывал события, которые последуют за неизбежной, по его мнению, неудачей, — война «не может

оказаться триумфальным шествием в Берлин». «Когда читаешь эти страницы — комментирует Алданов записку Дурново — порою кажется, что имеешь дело с апокрифом. Совершенно непонятно, каким образом полицейский чиновник, не имевший репутации орла и в среде царской бюрократии, мог так поразительно точно и уверенно предсказать события гигантского исторического масштаба»[38]. Симпатии ли только к Германии диктовали члену Думы Савенко оглашение 1 марта 1916 г. резолюции правых, в которой было много верных соображений и которую отнюдь нельзя было назвать «старой для наших германофилов темой». Савенко сказал: «Мы долго обсуждали... вопрос о разумности продолжения войны и не можем со спокойной совестью сказать, что народ хочет дальнейшей борьбы. Страна далека от мысли покорного согласия к выполнению немецких требований, но она и не отвергает возможности полюбовно прийти к соглашению, если таковое необходимо... Когда судьбы родины зависят от силы меча, то только разумом, а не сердцем можно решать вопросы государственной важности. Если нет неоспоримых доказательств в близости исчерпывающей победы, то долг государственных людей не подвергать дальнейшему испытанию народное терпение, ибо оно слишком напряжено».

Далеко не у всех «правых», однако, было отрицательное отношение к войне — в самом «Союзе русского народа» шла борьба двух течений. И немало резолюций на подобие тех, которые были приняты на совещании монархических организаций в Нижнем Новгороде, в ноябре 1915 г., можно

---

[38] Нам неизвестен, конечно, подлинный автор записки, вышедшей из круга Департамента полиции. Там были умные люди. Недаром во всем персонаже, действующем в романе Алданова «Ключ», самым умным человеком является, несомненно, Федосьев.

привести. Эти резолюции так ярко требовали борьбы с «немецким засильем», и их подхватывала та уличная печать типа московского суворинского «Вечернего времени», которая делала свою карьеру, потакая дурным инстинктам толпы и не гнушаясь иногда доносами на германофильствующих интеллигентов. Если одни говорили о необходимости скорейшего «почетного мира» с Германией для того, чтобы избежать крушения режима, то другие по той же причине страстно боялись «сепаратного» мира. Получался заколдованный круг: сепаратный мир означал революцию (это прямо отмечает в своей переписке Александра Федоровна), но продолжение войны — это также революция.

Я бы не рискнул утверждать, что целью правых, а тем более правительства, было заключение сепаратного мира[39].

Между тем это утверждение, можно сказать, красной нитью проходит в агитации прогрессивного блока и примыкающих к нему кругов из земско-городской среды: «государь в плену у черного блока», а основная цель стремлений этого блока заключить «позорный мир». В дневнике моем записано: «Мануйлов (редакция «Русские ведомости»), вернувшись из Петербурга, рассказывает, что Витте, Маклаков и царь за сепаратный мир, чтобы избежать революции». Оппозиция подчас шла дальше, утверждая, что даже экономический кризис правительство создает чуть ли не нарочно, чтобы иметь повод кончить войну, — это твердо было внушено послу Палеологу; правительство стремится вызвать осложнение

[39] Я совершенно отказываюсь рассматривать вопрос о сепаратном мире в плоскости интересов поместного, промышленного и торгового капиталов, ибо эта кажущаяся углубленной социологическая точка зрения вульгарного марксизма отзывается неимоверной житейской фальшью. Чьи специфические интересы защищал бывший русский посол в Соединенных Штатах Розен, являвшийся, по свидетельству Бородина, решительным противником войны с Германией?

в стране, которое развязало бы ему руки и дало бы возможность, ссылаясь на революционное движение, объяснить союзникам невозможность продолжать кампанию и возложить на оппозицию ответственность за проигрыш. Это аргументация не только Рябушинского, как сообщают соответствующие информаторы, но это и аргументация Милюкова, убеждающего членов кадетской фракции не поддаваться правительственной «провокации». Как мы увидим на тактике Милюкова в предмартовские дни, идея провокации «революции», которую якобы осуществлял прежде Горемыкин, а потом Протопопов, крепко укоренилась в сознании политического руководителя прогрессивного блока[40].

Проповедь сепаратного мира, конечно, могла быть работой тайных германских агентов, но при отдельных обвинениях надо быть осторожным. Можно утверждать a priori, что Распутин, окруженный шпионами, должен был бы непременно вести пропаганду в пользу заключения мира с немцами (статья «Вечернего времени», 17 августа 1915 г.). Ловцов в мутной воде могло быть немало. Немецкая интрига могла искать опору как среди темных дельцов[41], так и у представителей идейных пораженческих течений.

---

[40] Надо сказать, что раньше, из тех же соображений, выводили и «провокацию» войны — она была нужна для того, чтобы выйти из тяжелого внутреннего положения.

[41] Сам Николай II указывал в телеграмме английскому королю на возможное влияние банков, находившихся в немецких руках. Известно, что этим расследованием специально занималась особая комиссия генерала Батюшина. в свою очередь подвергшаяся общественным напалкам. Пока еще темна вода во облацех. Обвинения рождались слишком легко. Например, Курлов определенно обвинял Родзянко и Гучкова в покровительстве немецкой фирме «Проводник». Было привлечено к ответственности за «государственную измену» (передача германским страховым обществам сведений о военном флоте) правление страхового общества «Россия», одним из членов которого состоял тот же А. И. Гучков, и т. д.

Но пока у нас нет никаких абсолютно данных для того, чтобы распутинское окружение превращать в какую-то лабораторию сепаратного мира[42]. Пусть будет бестактным свидание Протопопова с банкиром Варбургом в Стокгольме, но выводить отсюда назначение Протопопова министром — значит безудержно фантазировать. «Романовы начали подготовлять почву для заключения мира» — таково заключение большевистского исследователя Семенникова, автора очень ценной по фактическому материалу работы: «Политика Романовых накануне революции». Склонен был поддерживать эту версию и Милюков, подчеркивавший в Думе, что стокгольмская история предшествовала назначению Протопопова и что потом предложения Варбурга были «повторены бо- более прямым путем и из более высокого источника»[43].

Поскольку мы будем говорить о самой верховной власти, то последующее с такой убедительностью и отчетливостью показало всю необоснованность всей этой концепции, что в историческом обзоре к ней возвращаться просто нет надобности. Отметим только общий голос иностранных дипломатов о том, что царь никогда не пойдет на сепаратный мир.

---

[42] Бывший министр внутренних дел Хвостов — специалист по немецкому шпионажу и по немецкому засилию — поистине «болтал» (выражение царицы) в Москве, что уволен за то, что хотел отделаться от германских «шпионов в окружении царского «Друга». И только эту «болтовню» повторял в Следственной комиссии Родзянко, с категоричностью заявлявший, что Распутин сознательно действовал по директивам из Берлина.

[43] Показательно, что в октябрьской беседе у Родзянко о свидании с Варбургом даже не было упомянуто — очевидно, ему не придавали значения. О стокгольмской встрече Протопопов передавал Милюкову перед представлением своим царю. Милюков, по его собственным словам, рекомендовал Протопопову не приписывать особого значения этой беседе и рассказать ее Николаю II в форме случайного эпизода туриста. Очевидно, Протопопов был очень далек от идей, которыми в то время руководствовался Кайо. В начале августа Протопопов давал объяснения в частном думском совещании. созванном в связи с проникшими в печать сведениями о свидании в Стокгольме.

Наибольший скептик в вопросе о дальнейшем участии России в войне — Бьюкенен, доносил своему правительству, что «единственный пункт, в котором мы можем рассчитывать, что он (Николай II) останется тверд, это вопрос о войне, тем более, что государыня, фактически управляющая Россией, сама непоколебима в решении продолжать войну во что бы то ни стало».

Когда в конце 1916 г. германское правительство обратилось к державам Антанты с приглашением начать мирные переговоры и когда, по словам жены Родзянко, в Петербурге очень опасались заключения мира, император Николай, по инициативе Гурко, ответил приказом, что время для достижения мира еще не наступило, так как «достижение Россией созданных войною задач, обладание Царьградом и проливами, равно как и создание свободной Польши из всех трех ее, ныне разрозненных, областей, еще не обеспечены». А в это самое время трудовая группа Государственной думы считала невозможным отказаться обсуждать германское мирное предложение.

История должна разойтись с показаниями современников. Их сознание так было проникнуто уверенностью, что страх перед народом слепит глаза правительства, что председатель Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, Муравьев, не задумываясь, серьезно ставил вопрос Воейкову: был ли разговор о том, чтобы открыть 1 марта фронт немцам. Такое сообщение поместила благородная «Русская воля». Великую несправедливость допустил и Плеханов, сказавший впоследствии на Всероссийском совещании Советов, что «царь не хотел защищать Россию», что «царь и его приспешники на каждом шагу изменяли ей»[44].

[44] Такой же, только революционной, демагогией отзывалось напоминание о том, что в 1906 г. за царем был прислан немецкий миноносец, — эту справку сочла нужным включить в свое обращение 9 марта 1917 г. к команде морских судов в Николаеве Государственная дума (за подписью Родзянко).

Глава III. «Штурмовой сигнал» Милюкова

1. Слово об измене

1 ноября 1916 г. лидер думского прогрессивного блока произнес свою «знаменитую речь» на тему: «Глупость или измена?». В «Истории второй русской революции» П. Н. Милюков о ней выразился так: «Общественное мнение единодушно признало 1 ноября 1916 г. началом русской революции». Это очень далеко от истины. Во всяком случае, сам Милюков, выступая с кафедры Государственной думы, отнюдь не думал, что он своими словами подает «штурмовой сигнал» (его собственное, более позднее выражение) к революции: слишком далек был тогда думский политик от какого либо сочувствия революционным настроениям в стране. Заслуживает быть отмеченным мнение В. Д. Набокова по этому поводу, он писал в своих воспоминаниях: «Только гораздо позже, уже после переворота, стало ходячим, особенно в устах друзей Милюкова, утверждение, что с речи 1 ноября следует датировать начало русской революции. *Сам Милюков, я думаю, смотрит на дело иначе*».

В речи Милюков назвал имя императрицы «вместе с именами окружавших ее авантюристов». Это упоминание — констатирует историк в исследовании «Россия на переломе» — «произвело впечатление прорвавшегося нарыва». И «хотя оратор — пояснял Милюков в «Истории» — скорее склонялся к первой альтернативе (т. е. к глупости), аудитория одобрением поддерживала вторую». Смысл речи думского трибуна, конечно, «был не в глупости», а в «измене», ибо на реплику депутата Замысловского Милюков ответил: «Как будто трудно объяснить все это одной глупостью». И в позднейшем предисловии к отдельному изданию речи Милюкова (Изд. «Нар. Пр.», 1917) говорилось: «С высоты думской три-

буны было названо впервые имя царицы и предъявлено царскому правительству тяжкое обвинение в национальной *измене*. Испытанный вождь оппозиции, П. Н. Милюков, *тщательно* подготовил материал для всенародного разоблачения закулисной работы партии царицы Александры и Штюрмера и перед лицом всего мира разорвал завесу, скрывавшую немецкую лабораторию сепаратного мира»[45]. В показаниях Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства Милюков подчеркнул, что «главное место» его речи, изъятое при напечатании думского отчета, относилось к «партии при молодой императрице».

В речи оратор напомнил предостерегающие слова, сказанные им в Думе 13 июня 1916 г.: «Ядовитое семя подозрения уже дает обильные плоды... из края в край земли русской расползаются темные слухи о предательстве и измене... слухи эти забираются высоко и никого не щадят». А. И. Деникин рассказывает, что в армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицы сепаратного мира, о предательстве ее в отношении фельдмаршала Китченера, о поездке которого она якобы сообщила немцам, и т. д. Теперь все эти темные слухи как бы находили авторитетное подтверждение в парламентском слове.

Роковое слово «измена» произвело, по словам непосредственного свидетеля, А. И. Деникина, «потрясающее» впечатление в армии; слухи об «измене» сыграли огромную роль в настроении армии, в отношении к династии и к революции. Полковник Резанов утверждает, что в письмах, задержанных военною цензурой и направленных в армию, весьма нередко попадались сообщения о том, что «член Государственной думы Милюков, имея документы в руках, всенародно доказал о продаже молодой царицы и всех министров Вильгельму».

---

[45] Речь Милюкова воспроизведена в брошюре А. С. Резанова.

Все понимали, что в Думе Милюков должен был говорить иносказательно и вкладывали в его речь больше, чем в действительности было сказано. Для ответственного заявления «испытанного вождя оппозиции» должны были, очевидно, иметься солидные данные. И никто не мог предполагать, что у Милюкова, в сущности, никаких материалов не было, что речь его переполнена была «сплетнями», что канвой для его речи (по утверждению Милюкова) послужили показания авантюриста — арестованного Манасевича-Мануйлова — дошедшие до парламентской трибуны через третьи руки[46], и безответственные цитаты из венской газеты «Neue Freie Presse». Надо признать, что в историческом уже аспекте «знаменитая» речь поражает своей необоснованностью во всех частях. Достаточно указать на одну поистине поразительную реплику оратора, тогда вызвавшую в Думе аплодисменты: «Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели тех данных, которые следствие открыло. Мы имели то, что имеем теперь: инстинктивный голос всей страны и ее субъективную уверенность»[47].

«Инстинктивный голос» часто может звучать фальшиво. Теперь мы знаем, как далек был царь от сепаратного мира и как далека была сама Александра Федоровна от подлинных симпатий к немцам во время войны.

С большим для того времени беспристрастием князь П. Д. Долгоруков говорил в записке, имевшей целью, по ин-

---

[46] По словам В. Л. Бурцева, имевшего такое соприкосновение с информацией Мануйлова, он был «глубоко возмущен» речью Милюкова и тогда же сказал: «Историческая речь, но она вся построена на лжи».

[47] То, что Милюков говорил о провокации правительства Румынии на выступление, имело гораздо большее отношение к поездке Тома и Вивиани, имевших целью повлиять на русский штаб, чтобы он шел навстречу Румынии, к тактике генерала Алексеева, нежели к беспочвенным влияниям «темных сил»...

формации Охранного отделения, «уяснить взгляд кадетов на переживаемый политический момент», что «никто не думает ставить в вину государыне Александре Федоровне ее симпатии к своим несчастным гессенцам» или германцам вообще. Эти симпатии делают ей только честь, свидетельствуя только об ее приверженности к родной национальности. Симпатии к родной национальности, пока они не принимают активного характера, только естественны. Но беда в том, что нашу государыню Александру Федоровну винят в активном пособничестве Германии, и от этого тяжкого и, весьма вероятно, беспочвенного обвинения избавить ее может только ответственное министерство[48]. В действительности, по-видимому, не было и того, что казалось естественным П. Д. Долгорукову. «Удивительно, как непопулярна Аликс, — записывает в дневник 11 сентября 1915 г. великий князь Андрей Владимирович, — можно безусловно утверждать, что она решительно ничего не сделала, чтобы дать повод заподозрить ее в симпатиях к немцам[49], но все стараются именно утверждать, что она им симпатизирует».

«Это неправда» — подтверждает с своей стороны Бьюкенен. Злой ходячий анекдот того времени, порожденный «инстинктивным голосом», гласил, что на Зимнем дворце будто бы в дни антинемецких погромов висел плакат: «Хозяин,

---

[48] Записка относится к январю 1917 г. и изложена соответствующим осведомителем. Обвиняли Александру Федоровну в покровительстве немецким сестрам милосердия, в пожертвовании на германский Красный Крест (шлиссельбуржец Панкратов) и т. д. Сама Александра Федоровна логически объясняла царю необходимость заботиться о пленных врагах — для того, чтобы русским было лучше в плену. Положение немецких пленных в России было поставлено из рук вон плохо. Мудрый Алексеев, учитывая общественную психологию, всегда, однако, высказывался против сообщения сведений о помощи военнопленным.

[49] «Есть скоты, упорно называющие меня так (т. е. немкой)», — писала возмущенная Александра Федоровна мужу 5 января 1916 г.

хозяйка и дети русские. Дядя на войне». «Сумасшедшая немка», как называет Александру Федоровну жена Родзянко в переписке с Юсуповой, отнюдь не восстанавливала царя «против союзников». Нельзя заподозрить в неискренности Александру Федоровну, когда она в несчастьи писала: «О, Боже, спаси Россию... Только не этот постыдный мир... Нельзя вырвать из своего сердца любовь к России» (декабрь 1917 г.). Когда до Александры Федоровны доходят сведения о проекте свержения большевиков при участии немцев, она пишет: «Такой кошмар, что немцы должны спасать Россию; что может быть хуже и более унизительным, чем это...». Между тем только немцы могли спасти тогда царскую семью...

Думское слово об измене, соответствовавшее настроению, было принято на веру, без критики, и твердо укоренилось в сознании людей. Жена Родзянко, со слов офицера, пишет Юсуповой 12 февраля 1917 г: «На фронте говорят, что она (т. е. А. Ф.) поддерживает всех шпионов немцев, которых, по ее приказанию, начальники частей оставляют на свободе». Генерал Селивачев 7 марта записывает в дневник: «Вчера одна сестра милосердия сообщила, что есть слух, будто из Царскосельского дворца от государыни шел кабель для разговора с Берлином, по которому Вильгельм узнавал все наши тайны». Генерал Селивачев не только записывает, но и комментирует эту ерунду: «Страшно подумать о том, что это может быть правда — ведь какими жертвами платит народ за подобное предательство!»

Приходится ли удивляться, что 95 членов петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, требуя 7 марта ареста членов царской фамилии, говорили об «уличенной в измене России» царице, если даже великий князь Кирилл Владимирович считал возможным в своем «революционном» интервью в «Петроградской газете» говорить, что он с ужасом

не раз думал, не находилась ли царица в заговоре с Вильгельмом.

Так безответственное слово разрушало последний национальный авторитет царского имени. Нравственный престиж уже был разрушен Распутиным. И, конечно, никакое другое революционное слово не могло конкурировать с молвой, втаптывающей в грязь царское имя. В сознании народных масс подрывалась идея «священной монархии». И когда политические противники П. Н. Милюкова инкриминируют ему речь 1 ноября, то они вовсе не творят «легенды», как он выразился в ответ Гурко. Если не 1 ноября «поползло» слово об «измене», то с этого времени оно как бы получило общественную «санкцию».

2. Чувство меры

В устах представителя революционной демократии речь лидера блока была бы, по крайней мере, логична. Для Милюкова она просто непонятна, хотя в реплике Маркову 2-му он и призывал ее «заслугой перед родиной».

Мы уже видели, что Милюков довольно последовательно занимал позицию отрицания революционной борьбы с правительством во время войны. С полным основанием В. И. Гурко мог утверждать, что Милюков «революции не желал, сознательно на нее не работал и даже старался по-своему ее предотвратить»[50]. «Мы не хотели этой революции», — писал Милюков в статье «Как пришла революция» (1921 г). «Мы особенно не хотели, чтобы она пришла во время войны. И мы отчаянно боролись, чтобы этого не случилось».

---

[50] «Вечернее время», 21 октября 1924 г. Доклад Гурко был как бы ответом на доклад Демидова «Мировая война и русская революция». На замечания Гурко возражал Милюков в фельетоне «Последних новостей» — «Гурко и новейшая история России».

Руководствовался Милюков не только «мудрым», по выражению Демидова[51], сознанием, что «во время переправы лошадей не перепрягают», но и своим органическим отталкиванием от революции, отталкиванием, которое бывший министр иностранных дел Сазонов в одном из заседаний Совета Министров определил в таких словах: «Милюков — величайший буржуй и больше всего боится социальной революции». В заседании Государственной думы 3 марта 1916 г. П. Н. Милюков так охарактеризовал свою точку зрения: «Я не знаю наверное, приведет ли правительство нас к поражению. Но я знаю, что революция в России непременно приведет нас к поражению, и недаром этого так жаждет наш враг. Если бы мне сказали, что организовать Россию для победы значит организовывать ее для революции, я сказал бы: лучше оставьте ее на время войны так, как она была — неорганизованной»[52].

Эти настроения не оставили еще Милюкова в дни, предшествовавшие его речи 1 ноября. Обратимся вновь к информации Департамента полиции. Московское охранное отделение передает подробности доклада П. Д. Долгорукова в московском партийном комитете о происходившей 20–24 октября конференции кадетов в Петрограде. П. И. Милюкову удалось «как всегда» победить своих противников и повести за собой, но «после длительной и страстной борьбы». «Глубокое разногласие между «милюковцами» и «провинциалами» — сообщал Долгоруков — происходит по основному вопросу: Милюков центр тяжести борьбы видит в парламентской борьбе с правительством, «провинциалы» же считают необходимым перенести центр тяжести в организацию масс, в сближение с левее стоящими политическими груп-

[51] Речь на юбилей — «Милюков как учитель».

[52] Молва приписала Милюкову выражение: «Лучше поражение, чем революция» (Шляпников, «1917-й год»).

пами, в более решительную борьбу с правительством не только на парламентской почве, но и при посредстве всевозможных общественных организаций».

Аргументация Милюкова в цитируемом докладе представлена в таком виде: «Бесспорно, — заявлял Милюков, — нас ожидает после войны грозное народное движение. Но именно потому, что оно будет грозно стихийным, мы должны прилагать все усилия, чтобы вложить в него разум, плюс организующее начало... Нравственный кредит правительства равен нулю; в последний момент... оно, конечно, ухватится за нас, и тогда нашей задачей будет не добивать правительство, что значило бы поддерживать анархию, а влить в него совершенно новое содержание, т. е. прочно обосновать правый конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством, несмотря на все, необходимо чувство меры... Поощрять во имя борьбы с правительством деятелей анархической революции, это значило бы рисковать всеми нашими «политическими достижениями, завоеванными с 1905 г.».

Конференция происходила за неделю до открытия Государственной думы. Как будто бы такой позиции совершенно не соответствовала речь 1 ноября?

***

На П. Н. Милюкова и его единомышленников, несомненно, было оказано сильное давление в эти дни. Не прошла бесследно упоминавшаяся октябрьская конференция, на которой лидера упрекали за то, что он «плохо следит за настроениями русского общества и не дает себе отчета в том, какое впечатление на массу... производит его уклончивая дипломатическая тактика заигрывания с правительством». Еще на VI съезде партии (февраль 1916 г.) Маклаков указывал, что настроение Москвы сверху донизу таково, что малейшее «заигрывание со Штюрмером может безвозвратно погубить

престиж партии». Общество стихийно левело, как это видно по настроениям земско-городских деятелей. 29 октября князь Львов, после совещания председателей губернских земских управ, обратился к Родзянко с письмом, в котором определенно уже заявлялось, что «стоящее у власти правительство не в силах закончить войну» и что «в решительной борьбе Государственной думы за создание правительства, способного объединить все живые силы и вести... родину к победе, земская Россия будет стоять заодно с народным представительством». Тождественное доводил до сведения Государственной думы и М. В. Челноков от имени союза городов. Из источников достоверных я знаю о попытке настойчивого непосредственного воздействия на Милюкова со стороны князя Львова. И два основных тезиса Милюкова о невозможности иметь дело с властью и об измене заимствованы из письма Львова. Там, между прочим, говорилось: «мучительные, страшные подозрения, зловещие слухи о предательстве и измене, о тайных силах, работающих в пользу Германии... перешли в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на направление хода наших государственных дел». Выступление 1 ноября с упоминанием императрицы, как мы увидим, могло соответствовать плану, осуществляемому Львовым.

В октябре во всех кругах царит «сгустившаяся атмосфера общественного недовольства», «оппозиционность настроений достигла таких исключительных размеров, каких она, во всяком случае, не имела в широких массах даже в период 1905–1906 гг.».

На совещаниях А. И. Коновалова (мы о них скажем позже; на них присутствовали представители не только либеральных и радикальных кругов, но и социалисты разных оттенков) об этом полевении общества говорится очень много. Участники совещания склонны признать, что на ближайших выборах в Государственную думу к.-д. «окажутся для Москвы слишком

правыми». Сам Милюков в бюджетной ко миссии Государственной думы передавал свои московские впечатления во время октябрьской поездки в Москву будто бы в таких словах: «Я бы никогда не поверил, что Москва стала говорить таким языком. Там говорят «языком непримиримых революционеров». «Можно думать — оговаривался Милюков — что настроение Москвы в этом отношении опережает настроения России в целом».

Наряду с указанной информацией директор Департамента полиции на основании донесений с мест в своей сводке отмечает «ослабление веры в народное представительство». Дума разочаровывает массы своей деятельностью и это «особенно озабочивает кадет, которые собираются в предстоящей сессии продемонстрировать перед народом, что они являются столь же деятельными, как и левые парии». Заключение Департамента полиции, по-видимому, было основательно. 22 октября Милюков встречается с Палеологом и говорит ему о готовящейся против Штюрмера и Протопопова демонстрации. На тревожный вопрос Палеолога, не грозит ли возобновление заседаний Думы осложнениями, Милюков, по словам автора дневника, ответил: «Нет, ничего серьезного. Придется, однако, некоторые вещи сказать с трибуны. Иначе мы потеряем всякое влияние на наших избирателей и они уйдут к крайним паритям». Последующая речь Милюкова не была импровизацией, слово об «измене» не было обмолвкой «в пылу красноречия», ибо в заранее составленном проекте» резолюции блока говорилось уже об «измене», что так смутило сочувствовавшего блоку графа Игнатьева: по его словам, «бывают выражения уместные в речах, но в резолюциях негодные» — здесь нужны «доказательства».

1 ноября П. Н. Милюков сознательно устроил отдушину для выхода накопившихся газов. И позволил он себе это только потому, что был в действительности очень далек от

мысли о возможности близкой революции. Угроза «революцией» для него была только средством воздействия на власть и отчасти на своих единомышленников, которые, по выражению информаторов Департамента полиции, испытывают непомерный страх перед революцией. В своих пореволюционных выступлениях П. Н. Милюков неоднократно подчеркивал, что революция сделалась «окончательно неизбежной» в августе-сентябре 1915 г. Это вывод историка, а не мемуариста. С. П. Мансырев (член кадетской фракции) вспоминал в «Истории и Современности», как Милюков в конце 1916 г. доказывал, что «ни о какой революции еще десятилетия не может быть речи». Такое же восприятие милюковской точки зрения в свое время получил и В. А. Маклаков.

3. Шахматная комбинация

Когда просматриваешь сводки агентов Департамента полиции, выносишь определенное впечатление, что вся тактика лидера прогрессивного блока действительно рассчитана на неизбежный приход к власти. По-видимому, многие думали, что так и будет. «Только немедленное принятие программы кадет... могло бы несколько успокоить страну» — передает октябрьская сводка мнение видного еврейского деятеля, высказанное на собрании банковских деятелей. Реалистическая оценка момента в данном случае была далека от действительности. Рецепт спасения от революции видели в кадетском министерстве. Оппозиции казалось, что власть, попав в ее руки, будет тверда и популярна. Это замечание «предсмертной записки» Протопопова, опубликованной П. Я. Рыссом в «Голосе минувшего», глубоко верно. Только позже, в 1921 г., в статье «Как прошла революция» Милюков признал ошибочность взгляда, что роковой ход истории можно было изменить. Не так думалось ему накануне революции, когда, по словам одной из охранных записок, либе-

ральная буржуазия верила, что с наступлением неизбежных событий «правительственная власть должна будет пойти на уступки и передать всю полноту своих функций в руки кадет, в лице лидируемого ими прогрессивного блока, и что тогда на Руси... все образуется».

В первые дни революции, в разговоре с Сухановым, Милюков сказал: «...мы, как ответственная оппозиция, несомненно, стремились к власти и шли по пути к ней, но мы шли к власти не путем революции. Этот путь мы отвергали. этот путь был не наш». Возможно, что мемуаристом слова переданы не совсем точно. Но смысл их вполне отвечает надеждам, которые питали руководители блока. «Правительство завело себя в тупик, и мы бьем теперь наверняка»[53]. Эта реплика на одном из фракционных совещаний дополняет психологию, в атмосфере которой складывалось решение о произнесении вызывающей речи 1 ноября. Это был удар по Штюрмеру. Отступая от тактики, противящейся слишком «энергичным натискам» на правительство и его изоляции, П. Н. Милюков как бы склонялся к мнению, что резкое выступление Думы в данном случае заставит правительство пойти навстречу желаниям прогрессивного блока, — зрелый плод упадет с дерева. Не следовало, однако, принимать так категорично, как это сделала в дневнике З. Н. Гиппиус, слова П. Н. Милюкова 1 ноября: «Теперь мы видим и знаем, что с этим правительством мы так же не можем законодательствовать, как мы не можем вести Россию к победе... Теперь... кажется, все убедились, что обращаться к ним с доказательствами бесполезно, когда страх перед народом, перед всей

[53] Любопытно, что, по отзывам цитируемых информаторов, кадеты были убеждены, что им обеспечено большинство в V Государственной думе. У министерства Штюрмера был проект роспуска Думы и назначения новых выборов.

страной слепит глаза и когда основной задачей является поскорей кончить войну, хотя бы вничью, чтобы только отделаться поскорее от необходимости искать народной поддержки». Эти слова Гиппиус считала «центром речи» и записывала: «Милюкову можно бы сказать с горечью: теперь видите? и прибавить: не поздно ли?.. А вот почему эти ответственные слова фактически — безответственны? Увидели, что «ничего не можем с ними»... и продолжаем с ними? Как же так?»

Плод оказался еще недозрелым. И уже 16 ноября в совещании бюро блока с представителями общественных организаций (Львов, Челноков, Коновалов) Милюков выступил с докладом и доказывал необходимость вновь идти «зигзагообразно», проявлять «осторожность», чтобы не нарушить «единство общественного фронта». Поддерживавшие Милюкова Шингарев и Шидловский высказались даже против созыва земско-городских съездов, которые могут предъявить требования Думе, между тем как агрессивная политика дальше невозможна и может привести к роспуску Думы, с которым связана возможность революции. Так характеризовал итог этого заседания Шляпников в письме 2 декабря к заграничным «друзьям». Последующие события подтверждают вполне правильность такой характеристики. 19 ноября в Думе разыгрались сцены, которые едва ли можно было ожидать после речей 1 ноября, — характерно, что эти сцены совершенно замолчены историком русской революции (в обеих работах).

Кабинет Штюрмера был сброшен. Замену Штюрмера Треповым блокисты считали «победой». Конечно, верховная власть пошла на уступки. Поливанов, популярный в общественных кругах, считал себя самым вероятным кандидатом. Морской министр Григорович, как бы «демонстративно»

заявивший 4 ноября о единении армии и флота с Думой[54], в своих неизданных еще воспоминаниях рассказывает, что он был вызван в Ставку, и там господствовала полная уверенность, что именно Григорович будет назначен премьером — он получил уже официальные поздравления[55]. Этот вызов очень характерен, если мы вспомним, что о кандидатуре Григоровича наряду с Протопоповым упоминал царю Родзянко. Тогда царь счел такую кандидатуру на пост председателя министров во время войны самой большой «глупостью» из сказанных Родзянко. (И Николай II и Александра Федоровна считали Григоровича хорошим морским министром.) Но общественность требовала смещения Штюрмера: «Каждый день я слышу об этом все больше и больше. Надо с этим считаться», — писал царь 9 ноября. Он вспомнил, что Григорович — одна из кандидатур, приемлемых обществу. Назначен был, однако, Трепов, в значительной степени вопреки мнению Александры Федоровны.

Новый председатель Совета министров должен был 19-го оглашать свою декларацию. Он «встретил в Думе такой же прием», как Штюрмер, т. е. был освистан. Эта строчка взята нами из исследования П. Н. Милюкова «Россия на переломе». В более ранней своей «Истории второй русской революции» автор более точно говорил, что Трепов «наткнулся со стороны социалистических депутатов на прием, который вся Дума готовила Протопопову в случай его появления». О настроении блока и его левой части в эти дни автор умалчи-

---

[54] Это заявление было сделано вместе с военным министром Шуваевым. Интересно, что к этой «демонстрации» Александра Федоровна отнеслась отнюдь не враждебно. Она считала речи «правильно задуманными», но произнесенными в несоответственных тонах. Молва приписала Александре Федоровне «истерику», когда она узнала о происшедшем рукопожатии с Милюковым представителей власти. (Запись Каррика.)

[55] Сообщил мне капитан Лукин.

вает. Он говорит только, что выбор Трепова подтверждал, что власть не хочет искать своих представителей вне тесной среды старых сановников... неспособных вызвать к себе никакого общественного доверия. Откроем показания Милюкова в Следственной комиссии Временного правительства. Здесь по неизбежности приходилось быть точным в изложении: «Так как Трепов считался кандидатом либеральным и давно шло к тому, чтобы выдвинуть его в такой момент, когда можно сговориться с Думой, чтобы предстать в качестве приемлемого для Думы человека, то первое впечатление от увольнения Штюрмера — это было впечатление полной победы Думы после удара по Штюрмеру. Казалось, что формально это как раз есть первый шаг к ответственности, — вскоре выяснилось, что Трепов ни в какие разговоры о соглашении, ни в какие обязательства по отношению Думы и блоку не пойдет... Отсюда.... и решение блока оставить прежним свое поведение и сделать соответственное заявление сейчас же, как только Трепов выступит со своим заявлением. Заседание вышло, надо сказать, более бурным, чем мы ожидали, потому что левые партии решили совсем не принимать Трепова, не допускать его заявление и устроить ему обструкцию. Мы же для этой обструкции не видели оснований».

Дневник Палеолога нам вновь приоткрывает уголок закулисной обстановки. Он записывает 13 ноября о готовящейся кадетами шумной демонстрации, чтобы запугать царя и заставить его отказаться от автократизма. Очевидно, демонстрация 19-го должна была быть общей — отступил блок. Что же произошло 19-го? Родзянко предложил исключить демонстрирующих левых на восемь заседаний. Чхеидзе, Керенский, Соболев и Хаустов были исключены и, согласно регламенту, им было предоставлено слово для объяснения. Чхеидзе начал с цитаты речи Гучкова в 1912 г. и был лишен слова. Затем выступает Керенский с заявлением, что новый

кабинет «еще хуже старого», что оппозиции «затыкают глотку» и не позволяют сказать, что «единственное спасение страны» в созыве новой власти, которая «опиралась бы на народ и спасла бы страну от гибели». «И вы, — обращался Керенский к прогрессивному блоку, — которые вместе с нами здесь говорили: «или мы, или они», теперь нас исключаете. Скажите же стране, что между народом и вами нет ничего общего. Мы останемся на посту... и говорим: «страна гибнет и в Думе нет спасения. Они выгоняют нас, но поддерживают тех»... Этот мотив повторяется и в остальных речах. Вновь поднимается на трибуну Трепов. Шум и крик на крайне левых скамьях возобновляется. Чхенкели, Кайниса, Дзюбинского, Суханова (трудовик) постигает та же кара. Только тогда Трепову удалось дочитать свою декларацию.

***

Напрасно искать последовательности и логики в политической борьбе. Речь П. Н. Милюкова 1 ноября произвела впечатление разорвавшейся бомбы — одна из целей была достигнута. Информаторы Департамента полиции сообщали: «Дума в своем нынешнем составе еще недавно считалась левой прессой и демократическими кругами «черносотенной», «буржуйкой»... заседание 1 ноября заставило широкие массы более доверчиво отнестись к Думе. Эта перемена отношения, во многом объясняемая широким распространением запретных речей...[56] привела к разговорам о возможности роспуска Думы до окончания войны, к толкам о необходимости беречь Думу и пр. Таким образом, ноябрьские события, дав толчок к политическим разговорам обывателей, тем самым способствовали тому, что все политические чаяния населения оказались связанными с именем Думы».

---

[56] «Не было учреждения, — вспоминает Шляпников, — которое не занималось бы в ноябре копировкой думских речей».

Много лет спустя Е. Д. Кускова в «Последних новостях» (1924) отмечала революционный характер милюковской речи и находила, что при тогдашних обстоятельствах она «гораздо более подняла революционное настроение русского общества, чем все подпольные манипуляции большевиков». Сам думский трибун, как будто бы ничего не изменилось, только что проголосовав за исключение левых, в том же заседании 19 ноября говорил: «Страна встрепенулась; от ваших речей пролетела электрическая искра по стране. Зарезанные цензурой речи расходятся, наподобие белых прокламаций, тайно по всей стране. Самая тема прокламаций изменилась после ваших речей и вместо борьбы с лозунгом: «долой войну», раздался лозунг «за войну», и вместо созыва разных Учредительных собраний раздалось требование Министерства спасения». Здесь был намек на прокламацию, которая была издана социалистами-оборонцами, связанными своей деятельностью с военно-промышленным комитетом. Они поддерживали Думу, но требовали от нее, «несмотря ни на какие угрозы, самой решительной борьбы против правительственной власти», т. е. рекомендовали тактику, противоположную тактике думского большинства.

Через месяц Милюков, не обинуясь, говорил, что «русское политическое движение снова приобрело то единство фронта, которое оно имело до 17-го октября». Это было самообольщение. Единый общественный фронт был разорван 19 ноября: «Большинство Государственной думы — гласило заявление трудовиков, — после замены Штюрмера Треповым явно шло на сделку с правительством, считая дальнейшую оппозицию излишней».

«Левых» Милюков мог заменить только представителями всех московских «бирж» (хлебная, мясная и т. д.), которые коллективно, безоговорочно приветствовали Государственную думу в лице Родзянко за ту правду, которая была выска-

зана 1-го ноября и которой «болеет сердце каждого русского гражданина».

Думские революционеры опрометчиво отозвались на «штурмовой сигнал», поданный руководителем прогрессивного блока. Для него ноябрьское выступление было своего рода шахматной комбинацией — отчасти вынужденной. Тактический ход не был, однако, достаточно обдуман и разрушал всю сложную игру, которую вел политический шахматист.

Декабрьская решительность Милюкова вновь должна быть объяснена давлением, которое на него было оказано земско-городской средой. Речь кн. Львова при открытии 9 октября земского съезда, вернее, совещания, так как формально съезд не был разрешен полицейской властью, выделялась своей резкостью и определенностью. Он прямо говорил: «Оставьте дальнейшие попытки наладить совместную работу с настоящей властью. Она обречена на неуспех. Она только удаляет нас от цели. Не предавайтесь иллюзиям». И резолюция съезда заканчивалась призывом к Государственной думе оправдать «в начатой ею решительной борьбе, памятуя о своей великой ответственности, те ожидания, с которыми к ней обращается вся страна». «Дума, — дополняла резолюция съезда Союза городов, — должна с неослабевающей энергией и силой довести до конца свою борьбу с постыдным режимом. В этой борьбе вся Россия с нею. Союз городов призывает Государственную думу «выполнить свой долг и не расходиться до тех пор, пока основная задача создания ответственного правительства не будет достигнута». Наконец, резолюция уже объединенного совещания общественных организаций 11 декабря также гласила: «Ни компромиссов, ни уступок».

Но блок — эта «иллюзия единства думского большинства», по меткому выражению охранников, — не мог найти

выхода из положения. Сам Милюков однажды в Думе обмолвился: «я знаю, где выход, но как до него дойти, я не знаю». И лидеру прогрессивного блока приходилось плыть по течению, не имея шансов найти выхода, ибо, очевидно, тактикой 1 ноября «ровно ничего» нельзя было выиграть в глазах правительства. Молодой Юсупов писал матери 20 ноября по поводу очередного доклада председателя Думы царю: «Медведев (т. е. Родзянко) вернулся от дяди очень мрачным — он все сказал в самой резкой форме... открыто говорил про тетю, что ее надо убрать, пока не поздно». И ему ответили: «Вы думаете, что я тоже изменник?» «Как тебе это нравится?» — негодует автор письма. А какой другой ответ мог быть в эти дни? После ноябрьских речей Александра Федоровна стала особо неистовствовать — она требовала от царя, чтобы он, сделавшись Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом, «сокрушил всех»; она писала о ссылке в Сибирь Львова, Гучкова, Милюкова и др.

Власть и общество разошлись еще больше. Если революция стала неизбежной, то тактикой 19 ноября можно было только «дискредитировать» себя в глазах «глубоко возмущенного народа». Такая тактика — неудачное впечатление не могли загладить декабрьские речи — была в действительности чужда «трезвого, реального расчета». Таким путем нельзя было, как выразился Милюков в ответе Гурко, «свести левые настроения с неба на землю».

Посмотрим, на что рассчитывали другие.

Глава IV. Планы князя Львова

1. «Безумный шофер»

В речи на декабрьском «совещании» (1916) уполномоченных Всероссийского земского союза князь Львов говорил: «Пятнадцать месяцев назад нас не допускали сказать монарху истинного слова предостережения о надвигающейся тогда грозной опасности гибельного разрушения того внутреннего единства, которое было провозглашено в самом начале войны с высоты престола, как единственный верный залог свободы. Им было страшно слово правды, которое мы бережно, осторожно несли из глубины народного сердца к престолу. Им было страшно соприкосновение царя с народом. Они испугались нас, поглощенных высокопатриотической работой на спасение родины... Путем разрушения народного единства и сеяния розни они неустанно готовят почву для позорного мира; и вот уже в предчувствии грозной опасности и в состоявшемся полном разрыве идеала русского народа с действительной жизнью мы должны сказать теперь им: «Вы — злейшие враги России и престола; вы привели нас к пропасти, которая развернулась перед русским царством... То, что мы хотели 15 месяцев тому назад с глаза на глаз сказать вождю русского народа, теперь говорит в один голос вся Россия».

Насколько искренна была в устах князя Львова такая несколько запоздалая славянофильская концепция? Как ни важен для обрисовки «заговорщического» облика Г. Е. Львова ответ на этот вопрос — точно сможет это сделать только его биограф. Они помешали довести «слово правды» до престола. Но фактически носитель верховной власти отказался в сентябре 1915 г. принять депутацию союзов — с этого момента, по мнению Родзянко, началось охлаждение общества к царю. Министр внутренних дел князь Щербатов довел в свое

время до сведения Львова и Челнокова, что государь, «высоко ценя труды и заслуги союзов, проявленные ими в настоящую войну», считает «ненормальным вторжение в политику с обходом правительства». Слабая личность монарха не могла противостоять бюрократическому средостению, которому нет дела до того, что «поток несчастия затопит родину», что «великая Россия станет данницею немцев» — «лишь бы им сохранить свое личное старое благополучие». «В такие моменты — говорил Львов в своей декабрьской речи — нечего искать, на кого возложить ответственность, а надо принимать ее на самих себя».

Так родилась идея о необходимости отстранения царя от престола. Мысль об этом в голове Львова промелькнула, по видимому, с первых дней войны. По крайней мере Н. И. Астров рассказывает, что при встрече Николая II в Москве еще в 1914 г. Львов вынес впечатление, что с таким царем победить немцев невозможно. Что же в таком случае «президент республики»? — формулировал свое впечатление Львов, садясь с Астровым в автомобиль. Оба собеседника молчали.

Впервые более конкретно эта мысль высказана в июне 1915 года на совещании у А. И. Коновалова М. М. Федоровым. Так утверждают присутствовавшие на этом совещании. Они поняли сомнения, возникшие у Федорова, как постановку в общественном сознании вопроса о негодности монарха и даже о смене династии. Робко и случайно брошенная мысль не сопровождалась какими нибудь конкретными предложениями. Но с этого момента в разных совещаниях мысль бродит вокруг да около. Она нашла себе открытое выражение в иносказательной статье Маклакова «Трагическое положение», напечатанной в «Русских ведомостях» в сентябре.

«...Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге, — писал Маклаков. — Один неверный шаг, и вы безвозвратно

погибли. В автомобиле — близкие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер править машиной не может; потому ли, что он вообще не владеет машиной на спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, и ведет к гибели и вас, и себя... К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной, им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на полном ходу нелегка и опасна; одна секунда без управления — и автомобиль будет в пропасти. Однако, выбора нет — вы идете на это. Но сам шофер не идет. Оттого ли, что он ослеп и не видит, что он слаб, и не соображает, из профессионального самолюбия или упрямства, но он цепко ухватился за руль и никого не пускает. Что делать в такие минуты? Заставить его насильно уступить его место? Как бы ни были вы ловки и сильны, в его руках фактически руль, и один неверный поворот или неловкое движение этой руки — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже знает. И он *смеется* (курсив мой) над вашей тревогой и вашим бессилием: «Не посмеете тронуть!» Он прав: вы не посмеете тронуть; если бы даже страх или негодование вас так охватили, что, забыв об опасности, забыв о себе, вы решились силой захватить руль — пусть оба погибнем — вы остановитесь: речь идет не только о вас; вы везете с собой свою мать... ведь вы ее погубите весте с собой, — сами погибнете. И вы сдерживаете себя, вы отложите счеты с шофером до того вожделенного момента, когда минует опасность... вы оставите руль у шофера. Более того, вы постараетесь ему не помешать, будете даже советом, указанием, содействовать. Вы будете правы — так и нужно сделать. Но что будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится? Что будете вы переживать, если ваша мать, при виде опасности, будет просить вас о помощи и, не понимая вашего поведения, обвинит вас в бездействии и равнодушии?»

Статья эта, по свидетельству информаторов Охранного отделения, «встретила живейший отклик» в самых широких кругах общества, что говорило о росте «антидинастического настроения». К чему клонил сам Маклаков? Как будто бы ясно: против «шофера» во время войны выступать нельзя. Но конец статьи, может быть, против воли автора, ослаблял такое впечатление и скорее ставил вопрос, чем разрешал его. Ответы должны были получаться различные в соответствии с той двойственностью, которая отмечала общественную тактику. Нужен был еще большой напор обстоятельства и времени для того, чтобы людей, чуждых по природе революционному действию, превратить в конкретных заговорщиков.

У Львова как будто бы не было страха перед народом. В его «славянофильском» представлении народ всегда действует по разумному инстинкту, не нарушает «величавый образ душевной целости и согласия жизни государственной». В своих высоких и чистых стремлениях, в своей могучей и великой любви к родине, в своем национальном подвиге, народ лишь глубоко потрясен «язвой», грозящей «делу победы». В несколько, пожалуй, примитивной психологии Львова это народное чувство выливается в формулу: не хотим быть под властью «немки». Надо прежде всего устранить эту «немку», изолировать царя от вредного влияния и предъявить ему ультимативные требования. Безвольный властитель верховной власти уступит, и опасность от «безумного шофера» будет устранена. Надо думать, такова первоначальная концепция, которая привела князя Львова к интимным переговорам с генералом Алексеевым.

2. Генерал Алексеев

Царь ценил и верил генералу Алексееву. В переписке с женой о нем встречаются только хорошие отзывы: царь называл его «моим косоглазым другом» и говорил о работе с ним «захватывающего интереса».

Но Алексеев чрезвычайно скептически относился к тому, что происходило в правительственных сферах. По словам И. П. Демидова, приезжавшего к Алексееву по делам земского союза, начальник штаба верховного главнокомандующего будто бы дал тогдашней власти такую характеристику: «Это не люди — это сумасшедшие куклы, которые решительно ничего не понимают... Никогда не думал, что такая страна, как Россия, могла бы иметь такое правительство, как министерство Горемыкина. А придворные сферы? — Генерал безнадежно махнул рукой».

Не видел спасительной панацеи Алексеев и в общественных организациях. По крайней мере, на докладе директора Департамента полиции Климовича о мартовских (1916 г.) заседаниях съездов общеземского и общегородского союзов, присланном начальнику штаба, Алексеев наложил следующую резолюцию: «Они должны быть осведомлены, что в различных организациях мы имеем не только сотрудников в ведении войны, но получающие нашими трудами и казенными деньгами внутреннюю спайку силы, преследующие весьма вредные для жизни государства цели. С этим нужно сообразовать и наши отношения». Позже, когда в первые дни революции Алексеев намечался верховным главнокомандующим, Родзянко писал кн. Львову: «Вспомните, что ген. Алексеев являлся постоянным противником мероприятий, которые ему неоднократно предлагались из тыла, как неотложные; дайте себе отчет в том, что ген. Алексеев всегда считал, что армия должна командовать над тылом, что армия должна командовать над волею народа и что армия должна как бы возглавить собой и правительство, и все его мероприятия; вспомните обвинение ген. Алексеева, направленное против народного представительства, в котором он определенно указывал, что одним из главных виновников надвигающейся катастрофы является сам русский народ в лице своих народ-

ных представителей. Не забудьте, что ген. Алексеев настаивал определенно на немедленном введении диктатуры».

Алексеев, однако, понимал, что надо пытаться примирить царя с обществом, и в частности со Львовым. В дневнике моем записано со слов авторитетных свидетелей, что при личном свидании Алексеев благоприятно оценивал способности Львова и жаловался на то, что он один ничего не может сделать.

Для нас ускользают предварительные этапы взаимоотношений Львова и Алексеева. Можно думать, что откровенные беседы велись в январе 1916 г., когда Львов и Челноков были приглашены в Ставку на совещание по продовольствию армии. О приезде Челнокова упоминается и в переписке Николая II. Царь отмечает 14 января: приехал «к моему большому удивлению» московский городской голова Челноков... За несколько минут до обеда я принял Челнокова наедине — он поднес мне теплый адрес от Москвы, в котором благодарит войска за хороший прием, оказанный делегации, посланной для распределения подарков солдатам. Он тяжело дышал и вскакивал каждую секунду со стула, пока разговаривал. Я спросил его, хорошо ли он себя чувствует, на что он ответил утвердительно, но прибавил, что он привык представляться Николаше и никак не ожидал увидеть здесь меня... Этот ответ и все его поведение понравились мне этот раз». По непонятным причинам о Львове нет даже упоминания. Объяснить это молчание я не могу, так как «Известия» Главного комитета Всероссийского земского союза определенно говорят об официальном присутствии Львова на указанном совещании. В моем дневнике отмечено: «...Львов сидел все время в вагоне. У него был Алексеев. Имели с глазу на глаз беседу в течение одного часа». Очевидно, Львов постепенно сумел передать Алексееву свою психологию и возбудить в нем те опасения, которые возникали в общественной среде относительно германофильского окружения «молодой императрицы». Алек-

сеева «тоже восстановили против меня», — писала впоследствии Александра Федоровна.

У Алексеева, очевидно, прочно укоренилось недоверие к Александре Федоровне — к ее, быть может, «бессознательной» (выражение Родзянко) деятельности в пользу Германии и к ее вредному влиянию на царя. У А. И. Деникина имеется, например, такая запись: Генерал Алексеев, которому я задал этот мучительный вопрос (об измене императрицы) весной 1917 г. ответил мне как-то неопределенно и нехотя: «При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземплярах — для меня и государя. Это произвело на меня удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользоваться ею»... Больше ни слова. Переменил разговор». Враждебное отношение было у Алексеева и к Распутину, и он решительно противился посещению «святым человеком» Ставки. Деникин рассказывает, что однажды после официального обеда в Могилеве императрица завела с Алексеевым разговор о Распутине и пыталась его убедить, что посещение «старцем» Ставки «принесет счастие». Алексеев сухо ответил, что для него это вопрос давно решенный. И что, если Распутин появится в Ставке, он немедленно оставит пост начальника штаба... Императрица резко оборвала разговор и ушла, не простившись с Алексеевым.

Осенью 1916 г. начинают в обществе ходить упорные слухи о готовящемся дворцовом перевороте, причем регентство должно перейти к Александре Федоровне. Об этом записал Сухомлинов в свой дневник 15/28 сентября. Отмечены эти «замыслы» царицы «в стиле Екатерины» также в записях В. В. Каррика. Передает эти слухи в дневнике и близкая двору Е. А. Нарышкина. Была ли хоть капля истины в этих слухах? Мне они представляются по всей сложившейся конъюнктуре и по взаимным отношениям царя совсем мало вероятными.

Было, очевидно, другое. В Следственной комиссии Временного правительства Манасевич-Мануйлов, рассказывая о влиянии «Царского» на Ставку, передавал такой случай: «...в 2 часа ночи раздался его (Распутина) звонок по телефону: «Экстренно приезжай, я тебе новость сообщу». Я тогда приехал к нему и он говорит: «Решено папашу больше одного не оставлять, папаша наделал глупостей, и поэтому мамаша едет туда». Было решено, что она будет жить в Ставке... Этого и боялся Алексеев. Приезд царицы мог бы усилить интриги «немецкой партии» в Петербурге, о которых говорил Алексеев ген. Иванову (не употребляя, впрочем, термина: «немецкая партия»). Отсюда, возможно, и податливость Алексеева на уговоры со стороны кн. Львова. Я считаю, что настойчивая инициатива исходила от последнего... Таким образом, к осени, по-видимому, между новыми «союзниками» была установлена договоренность уже о действиях. А. Ф. Керенский, который впоследствии о намечавшихся планах мог знать непосредственно от самого Львова, во французском издании своих воспоминаний говорит, что план заключался в аресте царицы, ссылке ее в Крым и в принуждении царя пойти на некоторые реформы, т. е., очевидно, согласиться на «министерство доверия» во главе со Львовым. Керенский ошибочно относит осуществление такого плана на октябрь — он был намечен, но на конец ноября. В ноябре один из доверенных Львова, по поручению последнего, посетил Алексеева. Произошла такая приблизительно сцена. Во время приема Алексеев молча подошел к стенному календарю и стал отрывать листок за листком до 30 ноября. Потом сказал: передайте кн. Львову, что все, о чем он просил, будет выполнено. Вероятно, на 30 ноября и назначалось условленное выступление.

Через кого Алексеев предполагал действовать? Лемке, бывший в то время в Ставке, записал в свой дневник еще 9 ноября 1915 г.: «Очевидно, что-то зреет... Недаром есть та-

кие приезжающие, о цели появления которых ничего не удается узнать, а часто даже и фамилию не установишь. Имею основание думать, что Алексеев долго не выдержит своей роли, что-то у него есть, связывающее его с ген. Крымовым именно на почве политической, хотя и очень скрываемой деятельности». Позже, в 1916 г., Лемке пишет: «Меня ужасно занимает вопрос о зреющем заговоре. Но узнать что-либо определенное не удается. По некоторым обмолвкам Пустовойтенко[57] видно, что между Гучковым, Коноваловым, Крымовым и Алексеевым зреет какая-то конспирация, какой-то заговор, которому не чужд еще кое-кто».

С указанными лицами мы встретимся. Скорее всего, что слухи объединяли два разных начинания, к одному из которых Алексеев не имел отношения. Характерно, что слухи, доходившие до Александры Федоровны, никогда не соединяют Алексеева с именем Львова. «Пожалуйста, душка, — пишет Александра Федоровна мужу 20 ноября 1916 г. — не позволяй славному Алексееву вступать в союз с Гучковым... Родзянко и Гучков действуют сейчас заодно, и они хотят обойти Ал... Его дело заниматься исключительно войной». Царь отвечал: «Ал. никогда не упоминал мне о Гучк. Я только знаю, что он ненавидит Родзянко и насмехается над его уверенностью в том, что он все знает лучше других...»

Почти можно не сомневаться, что из перечисленных Лемке лиц только Крымов мог иметь то или иное отношение к алексеевскому проекту. Для предъявления «требований» надо было иметь верную, распропагандированную военную часть или кружок сговорившихся авторитетных военных. Косвенные сведения указывают на то, что какое-то совещание в Ставке происходило еще летом 1916 г., и там говорили о возможном низложении Николая II.

[57] Генерал-Квартирмейстер Ставки.

Мог опираться Алексеев и на другую военную группу, очертания которой также неясны и которая имела непосредственную связь со Ставкой. Я имею в виду тот «морской» план, о котором слышал в свое время Шульгин. «План этот состоял в том — рассказывает он в своей книге «Дни» — чтобы пригласить государыню на броненосец под каким-либо предлогом и увезти ее в Англию, как будто по ее собственному желанию. По другой версии — ехать должен был и государь, а наследник должен был быть объявлен императором». Это не было «болтовней» в точном смысле слова, потому что нет никакого сомнения в том, что какие-то планы зрели в морском генеральном штабе и что этот план был в той или другой степени связан с тогдашней общественностью. На «морском плане» в другом месте мы остановимся несколько подробнее. Установить его непосредственную связь с Алексеевым пока не представляется возможным. Но в Ставке находился «любимый» императрицей «гвардейский экипаж», посланный для несения императорской охраны. При господствовавшем там настроении он легко мог быть использован при дворцовом перевороте.

***

Сама по себе схема «дворцового переворота», затеянная Алексеевым и Львовым — так, как она изложена Керенским и Милюковым, — представляется совершенно нереальной. Что должно было последовать, если бы царь не согласился на «ссылку» Алексеева? Люди, наблюдавшие его непосредственно, утверждают, что в критические моменты царь был тверд и решителен. Становился ли тогда перед заговорщиками вопрос о насильственном принуждении и об отречении монарха? Для ответа нет конкретного материала. Возможны только предположения. Кн. Львов такую возможность, по-видимому, не исключал.

Слухи об участии Алексеева в «заговоре» распространились далеко за пределы тех «семейных» разговоров в Ставке, которые Лемке занес в свой дневник. Уже в ноябре с фронта в Москву шли сообщения о возможности «крупных событий». Брусилов в своих воспоминаниях рассказывает, что до него доходили «сведения», что задумывается дворцовый переворот... «Я не верил этим слухам потому, что главная роль была предназначена Алексееву, который якобы склонялся арестовать Николая II и Александру Федоровну; зная свойства характера Алексеева, я был убежден, что он этого не выполнит».

План рушился, однако, сам собой. У Алексеева сделался острый приступ застарелой болезни. 11 ноября его заменил Гурко, и начальник штаба вынужден был отправиться на долгое лечение в Крым.

«Не забудь запретить Гурко болтать и вмешиваться в политику, — говорила Александра Федоровна в письме 4 декабря, — это погубило Николашу и Алексеева. Последнему Бог послал болезнь — очевидно, с целью спасти тебя от человека, который сбился с пути и приносил вред тем, что слушался дурных писем и людей...». Для тогдашних настроений характерно, что тотчас же распространились слухи, что Алексеев сознательно отравлен. «Я все более прихожу к убеждению, что ген. Алексеев сюда не возвратится, и притом не по причине нездоровья. Свои впечатления по этому поводу расскажу вам при личном свидании», — писал представитель министерства иностранных дел в Ставке Базили 27 ноября.

Алексеев в Крыму оставался до 20-х чисел февраля 1917 года. События шли своим чередом. Мы видели, как росла агрессивность кн. Львова по отношению к власти, поскольку эта политика сказывалась в открытых выступлениях Земского союза. Нам известно, что кн. Львов поехал в Крым

на свидание с Алексеевым. Последний отказался от всяких политических разговоров и его не принял. О посещении Алексеева в Севастополе представителями «некоторых думских и общественных кругов» говорит в своем исследовании и А. И. Деникин. Только информация, полученная Деникиным от самого Алексеева, была неполна и не совсем точна. Алексеев «в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны». Представители уехали, обещав принять меры к предотвращению готовящегося переворота. «Не знаю, — продолжает Деникин — какие данные имел Михаил Васильевич, но он уверял впоследствии, что те же представители вслед за ним посетили Брусилова и Рузского и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили свое первоначальное решение: подготовка переворота продолжалась».

Почему Алексеев не принял Львова? Мне кажется, это подтверждает предположение, что Алексеев шел только на изолирование царя от жены. Перед ним не становился вопрос о добровольном или вынужденном отречении самого царя; между тем в декабре и январе именно так ставился уже вопрос. «Разговоры пошли о принудительном отречении царя и даже более сильных мерах», — говорит Милюков в «России на переломе». В исторических трудах нет надобности вуалировать прошлое. Речь шла уже о заговоре в стиле дворцовых переворотов XVIII столетия, при которых не исключалась возможность и цареубийства.

3. Старый знакомец

С именем Львова связан еще один странный и таинственный эпизод. На сцене неожиданно появился небезызвестный в свое время Клопов. Маленькой чиновник, «обуреваемый мыслью спасти родину», в один из голодных годов сумел обратить на себя внимание молодого царя и внушить мысль о

необходимости уничтожения бюрократического средостения между монархом и народом. Клопов получил почти неограниченные полномочия обследовать голодающие губернии и непосредственно доносить царю. Вмешалось, однако, министерство внутренних дел, и, естественно, «клопиада» не имела никаких реальных последствий. Клопов ушел с горизонта государственной жизни.

Он вновь выплыл в декабре 1916 г. В показаниях Протопопова Следственной комиссии Временного правительства рассказывается, что Клопов написал письмо в. кн. Михаилу Александровичу в связи с полученной им аудиенцией у царя. Письмо было перлюстрировано и пошло к Протопопову, направившему его к царю. «Оппозиционное направление письма заставляло меня опасаться, — пояснял Протопопов, — не произведет ли он покушения на царя». Письмо говорило об ответственном министерстве. «Я сообщил об аудиенции В. П. Воейкову и написал свои сомнения царю... Царь ответил мне надписью на моем же письме: «Клопов — старичок, давно мне известный». Письмо Клопова передано было затем Протопопову для «ответа». Ответ составлен был Гурляндом, и смысл его заключался в том, что народное неудовольствие основано на экономическом положении и что нельзя касаться политических принципов: «если мы их изменим, мы пойдем к началу республиканского строя».

Был ли Клопов у царя и чем закончился их разговор, нам неизвестно. Скорее надо предполагать, что аудиенция не состоялась. Но вот обстоятельства, или предшествовавшие исходатайствованию аудиенции, или, может быть, явившиеся результатом несостоявшегося приема. Оказывается, Клопов действовал под влиянием и по наущению кн. Львова. Последний знал Клопова давно. Что их связывало? Н. Н. Львов, видевший не раз Клопова, говорил мне, что Клопов выступал с идеей «мужицкого» царя и проповедовал раздел земли.

«Мужицкий царь» не так чужд был и уху Г. Е. Львова. Естественно было бы предположение, что у кн. Львова могла явиться мысль использовать доступ Клопова к царю для того, чтобы на него воздействовать в желательном смысле. Еще в сентябре информаторы Охранного отделения передавали, что кн. Львов проводил мысль о «непосредственном обращении с протестом... к верховной власти». Надо думать, однако, что позднейшая радикальная тактика Львова совершенно упраздняла мысль о непосредственном коллективном обращении к монарху. В ноябре ее поддерживал только Родзянко, личные обращения которого оказывались недостаточно авторитетными. Перед ноябрьской сессией Государственной думы он выступил с предложением «испросить коллективный доклад у верховной власти». В своих воспоминаниях Родзянко рассказывает, что его предложению воспротивился Милюков, полагавший, что «такое действие было бы актом неконституционным».

Таинственность, с которой обставлен был план действия, где должен был фигурировать Клопов, скорее свидетельствует о том, что свидание с царем преследовало какие-то другие цели, — во всяком случае, не простое осведомление о настроениях в стране. Клопов должен был быть введен во дворец неожиданно и как бы нелегальным путем. С этой целью Львов познакомил Клопова с человеком, который имел возможность при своих связях доставить Клопова во дворец. Этот посредник был вызван специально из Москвы и представлен Клопову для того, чтобы тот хорошо его запомнил. По условленной телеграмме упоминаемый посредник обязывался выполнить данное поручение. А дальше что? Имели ли хоть какое-нибудь основание опасения, высказанные Протопоповым? Посредник не был посвящен в эту тайну, но у него сложилось впечатленье, что после... должен был выступить кто-то другой. Очевидно, у Протопопова говорило не только одно расстроенное болезненное воображенье.

Телеграммы не последовало. Оттого ли, что Клопов получил легальный доступ во дворец, оттого ли, что инициаторы осознали несуразность плана, оттого ли, что план с Клоповым был заменен другим. Не будем углубляться в эту фантастическую историю. Ответа все равно сейчас не найти.

4. Миссия Хатисова

Н. И. Астров вспоминает об одном секретном совещании на квартире Челнокова в декабре 1916 года по делам союзов, на котором Львов, в присутствии Кишкина, Маклакова и других, под честным словом рассказал, что в ближайшем времени можно ожидать дворцового переворота. В заговоре де участвуют военные круги, великие князья и политические деятели. Львов указывал, что надо быть готовыми. Речь Львова, по словам Астрова, была туманна. Присутствовавшие не приглашались участвовать в действиях, а лишь информировались о существующей конспирации. Все испытывали некоторое чувство «неловкости» и высказались в том смысле, что князю Львову неизбежно придется встать во главе правительства.

Эта страничка, восстановленная памятью Астрова, чрезвычайно важна, ибо, как мы уже указывали, подвергался сомнению рассказ, зафиксированный С. А. Смирновым на столбцах «Последних новостей» об участии Львова в заговоре, к которому пытались привлечь вел. кн. Николая Николаевича. По поводу «заговора» вообще М. В. Челноков в частном письме, которое я, однако, имею право цитировать, писал: «Вообще об этом никто серьезно не думал, а шла болтовня в том направлении, что хорошо бы, если бы кто это устроил». «Заговор», быть может, действительно был несерьезен — к этой оценке я готов присоединиться, но то, что уже рассказано, достаточно показывает, что дело не ограничивалось салонной болтовней или интимными беседами в кабинетах.

Ответственный общественный деятель не мог сообщить в дискретном порядке только слухи и не мог бы этого делать, если бы не имел в той или другой степени какого-то непосредственного отношения к предполагаемому «дворцовому перевороту» — ведь это значило бы выдавать чужие тайны.

Напомню, однако, прежде всего то, что писал Смирнов, передавая в сущности рассказ А. И. Хатисова, мною теперь проверенный у самого Хатисова и по записи М. С. Маргулиеса. Я буду передавать этот рассказ с некоторыми дополнениями.

Вечером 9-го декабря, после закрытия полицией 5-го съезда представителей Всероссийского союза городов, в квартире кн. Львова собрались на секретное совещание Н. М. Кишкин, М. М. Федоров и А. И. Хатисов[58]. Львов развил перед собравшимися план дворцового переворота с целью свержения с престола Николая II и замены неспособного монарха великим князем Николаем Николаевичем. «Воцарение» Николая Николаевича должно было сопровождаться образованием «ответственного министерства». Г. Е. Львов доложил совещанию, что в его распоряжении имеется письменное заключение за подписью 29 представителей губернских земских управ и городских голов, намечавшее его, кн. Львова, в качестве премьера. Совещание пяти, обсудив проект Львова, отнеслось к нему с сочувствием. Хатисов был уполномочен вступить в переговоры с Николаем Николаевичем, ознакомить его с проектом дворцового переворота и выяснить, как великий князь отнесется к этому проекту, и возможно ли будет рассчитывать на его содействие. В случае согласия Хатисов должен был прислать условную телеграмму: «Госпиталь открыт, приезжайте», а Львов «имел в виду»

[58] В повествовании Смирнова Кишкин фигурировал под инициалами Н. П. Был назван еще Челноков. Хатисов допускает здесь со своей стороны ошибку.

снестись с Гучковым, находившимся в то время на фронте, чтобы и его привлечь к участию в осуществлении заговора. На мой вопрос, как реально предполагалось произвести переворот, Хатисов пояснил, что Николай Николаевич должен был утвердиться на Кавказе и объявить себя правителем и царем. По словам Хатисова, Львов говорил, что у него есть заявление со стороны ген. Маниковского, что армия поддержит переворот[59]. Предполагалось царя арестовать и увезти в ссылку, а царицу заключить в монастырь, говорили об изгнании, не отвергалась и возможность убийства. Совершить переворот должны были гвардейские части, руководимые великими князьями. Какова могла быть при таких условиях судьба наследника? На это как будто бы не давался определенный ответ. Скорее «воцарение» Николая Николаевича знаменовало собой смену «династии», а не регентство. С такими определенными намеками мы встретимся ниже.

С подобным «поручением» Хатисов направился в Тифлис, предварительно побывав в Петрограде. Почему выбран был Хатисов для выполнения столь щекотливого конспиративного поручения? Не только потому, что великий князь находился на Кавказе, а Хатисов был тифлисским городским головой и председателем кавказского отдела Всероссийского союза городов. В положении Хатисова были специфические условия. Он был «своим человеком» еще у предшественника Николая Николаевича по наместничеству на Кавказе, Воронцова-Дашкова. Отношения были столь доверительны, что Хатисов проводил во дворец для информации наместника

---

[59] Роль «славного», по выражению Александры Федоровны, Маниковского представляется довольно двусмысленной. Она ясно выступает из переписки Александры Федоровны с мужем. Царица, например, отмечает, что Маниковский приветствовал отставку Поливанова-кандидатуру либеральной общественности. Участник (хотя бы и косвенный) заговора внушает носителю верховной власти мысль о подкупленности полиции, которая ничего не делает для прекращения осенних забастовок и т. д.

людей с революционным именем, бывших на нелегальном положении[60]. По словам Хатисова, Воронцов-Дашков и рекомендовал его при встрече с великим князем, и Николай Николаевич просил Хатисова быть с ним столь же откровенным, как и с Воронцовым-Дашковым. Для нас важно отметить еще одну черту: в силу семейного положения Хатисов был вхож и в дом великого князя Николая Михайловича, у отца которого служил отец Хатисова. Таким образом, Хатисов был знаком с Николаем Михайловичем с детства.

Итак, в Тифлисе, во время новогоднего приема, Хатисов изложил великому князю «проект Львова». Предложение не вызвало протеста со стороны Николая Николаевича. В рассказе Смирнова сказано, что Николай Николаевич сделал лишь два возражения: ему представлялось «неясным, не будет ли народ оскорблен в своих монархических чувствах насильственным низвержением монарха с престола», затем

---

[60] Любопытный штрих в этом отношении отмечает запись о заседании Совета министров 4 августа 1915 г. По поводу непрекращающегося продвижения наших войск на Кавказе во время докладов Поливанова о положении на театре военных действий государственный контролер Харитонов подал такую реплику: «Чхеидзе впадает чуть ли не в истерику и грозит непоправимыми несчастьями. При мне он кричал в Думе во время перерыва, что кавказской армией командует не Верховный главнокомандующий, и не наместник, а графиня Воронцова-Дашкова, опутанная армянскими сетями. В самом деле, куда мы, с позволения сказать, прём?» *Поливанов*: «Известно куда — к созданию великой Армении. Я вчера имел случай говорить с Его Величеством о возможных печальных последствиях, причем отметил, что собирание земли армянской составляет, по-видимому, основное стремление гр. Воронцова-Дашкова. На этих словах Государь Император, ласково улыбнувшись, соизволил поправить меня — «не графа, а графини». *Кривошеин*: «Господа, обратите внимание, какое знаменательное историческое совпадение: на значение графини Воронцовой в кавказской стратегии указывает Его Императорское Величество и... лидер социал-демократической фракции Государственной думы г. Чхеидзе». Эта сцена нам кое-что разъяснит впоследствии в деле миссии А. И. Хатисова.

он «хотел бы более определенно уяснить себе вопрос о том, как в случае низвержения Николая II отнеслась бы к этому событию армия». Николай Николаевич попросил два дня «на размышления». Хатисов указывает, что немаловажное значение имел одновременный приезд в Тифлис (30 дек.) инкогнито великий князь Николай Михайлович[61] со специальной целью посвятить Николая Николаевича в те суждения, которые перед тем имели между собой 16 великих князей по поводу критического положения и роли императора. Через два дня Хатисов вновь встретился с Николаем Николаевичем и узнал от него, что великий князь решил уклониться от участия в заговоре, мотивируя свой отказ мнением ген. Янушкевича, что армия настроена монархически и не пойдет против царя.

Передавая всю эту эпопею, надо подчеркнуть, что, по словам Хатисова, до сведения Николая Николаевича в эмиграции было доведено, что предполагается опубликовать рассказ Хатисова. Великий князь не протестовал. В последующей личной беседе с ним в Шуаньи Хатисов услышал подтверждение правильности рассказанного и сочувственное отношение к тому доверию, которое было вел. кн. в свое время оказано левыми общественными деятелями. Николай Николаевич готов был признать теперь, что его отказ в то время скорее был ошибочен. Добавим, что новейший биограф Николая Николаевича, ген. Данилов, отмечает в своей работе, что рассказ Хатисова им был «тщательно» проверен у лиц, «заслуживающих доверия».

Между тем рассказ Хатисова, как указывалось, вызывает возражения. Печатно с опровержением выступили лишь близкие покойному Николаю Михайловичу лица —

---

[61] Имя Николая Михайловича было названо в статье «Последних новостей», поэтому непонятно, почему ген. Данилов в новейшей биографии вел. кн. Николая Николаевича творит глухо о «высокопоставленном лице», приехавшем в Тифлис одновременно с Хатисовым.

ген. Брюммер, Молодовский и кн. Н. Трубецкой, отметившие весьма основательно, что Николай Михайлович в указанное в статье Смирнова время не мог быть на Кавказе. Ответ г. Смирнова был неубедителен, так как вне всякого сомнения, что в «самом конце 1916 г.» Николай Михайлович был в Петербурге, как это устанавливают совершенно точно записи в дневнике великого князя Андрея Владимировича (о них мы скажем в другом месте). Всякая неточность хронологическая подвергает сомнению рассказанное, хотя сам по себе спор о пребывании Николая Михайловича в Тифлисе имеет второстепенное значение. Посетить Кавказ Николай Михайлович мог сейчас же непосредственно после убийства Распутина. Это вполне вероятно по той роли, которую приходилось в те дни играть Николаю Михайловичу.

Демонстрирующим великим князьям важно было знать мнение своего авторитетного в глазах общества сородича.

Лица, близкие Львову, со своей стороны, указывают, что им представляется маловероятным согласие Львова на переговоры с великим князем Николаем Николаевичем в силу искони резко отрицательного к нему отношения: Львов считал его реакционером. Такое возражение мне не представляется убедительным в обстановке конца 1916 г. Львов мог уступить голосам, которые выдвигали кандидатуру Николая Николаевича. Личная неприязнь должна была стушеваться перед популярностью бывшего верховного главнокомандующего[62].

---

[62] Либеральной репутации вел. кн. значительно содействовало изданное формально от его имени известное воззвание к полякам. Милюков писал, что он долго не мог прийти в себя от силы впечатления, которое произвел на него манифест. В кругах радикальных воззвание произвело совсем иное впечатление — «удручающее», как отмечено у меня в дневнике. Странным образом в народной психике, по словам записей Каррика. этот манифест был воспринят как своего рода обещание крестьянам земли!

Земско-городские деятели зашли далеко в своем протесте. Москва становилась центром антиправительственного движения. Один нелегальный листок того времени, изданный от имени «группы объединившихся граждан Петрограда», так и говорил: «В смертный час, когда решается судьба родины, пойдем за Москвой и будем готовы исполнить наш крайний долг!» Объединенная резолюция московских общественных организаций 11 декабря (к ним присоединились с оговоркой относительно войны 23 представителя от рабочих групп, военно-промышленных комитетов, больничных касс, кооперативов и профессиональных союзов) обращала через голову правительства свое «последнее слово» непосредственно уже к армии: «Пусть знает армия, офицеры и солдаты, что правительство... наносит непоправимый удар общему делу. Пусть знает армия, что вся страна готова сплотиться для того, чтобы вывести Россию из переживаемого ею гибельного кризиса». При обращении к армии выплыло оппозиционное имя великого князя.

Нам приходится каждый из заговорщицких планов рассматривать изолированно. Полная картина может получиться только при обозрении всех перипетий этого смутного и тревожного времени.

Весьма возможно, что в решении начать переговоры с Николаем Николаевичем не было инициативы кн. Львова, как это представляется из рассказов Хатисова. Наоборот, московским «совещанием» кн. Львов втягивался в новую полосу заговора, и Хатисов в данном случае являлся одним из посредников.

Я слышал еще одно указание на маловероятность версии Хатисова со стороны А. Ф. Керенского. К концу декабря в тех кружках (их было несколько), которые ставили в очередь дня дворцовый переворот, по его словам, уже определенно выдвигалась комбинация с регентством великого князя Михаила Александровича. Но... договоренности в действительности

было мало, «кружки» действовали в значительной степени на свой страх и риск. И в лихорадке «разговоров» о перевороте они могли хвататься за ту комбинацию, которая им представлялась наилегче осуществимой в данный момент. К тому же Керенский ошибается: кандидатура великого князя Николая Николаевича была «возможна» даже в февральские дни.

Только познакомившись с переживаниями Николая Николаевича и настроениями других великих князей накануне крушения монархии, мы сможем понять психологическую обстановку, которая делала возможными тифлисские беседы.

Глава V. Великие князья

1. Верховный главнокомандующий

Генерал Данилов говорит: «Близко изо дня в день и при разной обстановке наблюдая Великого Князя (Н. Н.), я вынес глубокое убеждение, что он был одним из самых преданных Императору Николаю людей». Приходится в этом несколько усомниться, хотя Андрей Владимирович и записал в свой дневник такие слова Николая Николаевича после 1-го марта: «Ведь странно, что все, даже социалисты, его *лично* любят. Они мне сами говорили, что у него чудное сердце, прекрасная душа, он умный, симпатичный, но ее терпеть больше не могли. Она его погубила окончательно. Боюсь, чтоб с ней плохо не обошлись»[63]. *Л*ичные симпатии, если и были, могли совершенно стушеваться перед отрицательным отношением к царю, как к правителю, и перед враждебностью к царице — вдохновительнице безвольного мужа. Здесь замешаны были и женские интриги. В «черных сестрах», с которыми некогда были исключительно близкие отношения и которые, по выражению дневника Половцева, заправляли «спиритическими тенденциями» царской семьи (ими был рекомендован небезызвестный француз Филипп; через них прошел во дворец Распутин), Александра Федоровна видела главных своих врагов[64].

---

[63] Социалистами, на которых ссылается Николай Николаевич и которые посетили его перед отъездом из Тифлиса, могли быть только единомышленники А. И. Хатисова. В устах Николая Николаевича характеристика социалистов «из самых крайних левых» получилась своеобразная. Они откровенно говорили, что всю жизнь мечтали о социальном перевороте, но их «мечты были — конституционная монархия, но не теперешняя анархия», что они не допустят до республиканского строя правления, до которого Россия не доросла. По словам Смирнова, на приеме были представители социал-демократов (Жордания) и дашнакцутюнов.

[64] Биограф в. кн. Николая Николаевича делает весьма странное пояснение: «в силу моей неосведомленности, не могу читателя разуверить в

Популярность верховного главнокомандующего раздражала властную женщину. Письма ее за 1914–1915 гг. переполнены опасениями, что эта популярность может повредить царскому авторитету. Александра Федоровна обвиняет Николая Николаевича за то, что он вмешивается в дела, выходящие за пределы его компетенции, берет на себя функции царя, даже приказы свои издает под его «стиль»; у нее сквозит опасение, что он добивается трона в Польше или в Галиции, а может быть, даже всероссийского — недаром его называют Николаем III[65]. И за спиной его всегда мерещится «лукавство» других — «черногорок».

Как царь относился к этим настойчивым напоминаниям? Одно из писем (26 января 1915 г.) дает ответ: «Все замечают, что с ним произошла большая перемена с начала войны. Жизнь в этом уединенном месте (Ставка), которое он называет «своим скитом», и сознание лежащей на его плечах сокрушительной ответственности — должны были произвести глубокое впечатление на его душу; если хочешь, это тоже подвиг».

Популярность вел. князя осталась и во время военных неудач. Она скорее выросла. Виновником всего сделался Сухомлинов, который намечался до Николая Николаевича в верховные главнокомандующие и против которого вел. кн. вел «упорную борьбу» (показания Родзянко). Виновником было и бездарное правительство. Популярность росла и потому, что Николай Николаевич оказался в клике «злодея» Гучкова и «мерзавца» Родзянко, что сделался врагом «божьего человека», который один блюл интересы династии.

том, что слухи о проникновении Распутина в царский дворец через посредство жены в. кн. неверны»(?!). Факт как будто не подлежащий оспариванью.

[65] Этот термин попадается, между прочим, в записях Каррика.

***

Принятие на себя звания верховного главнокомандующего царем явилось большим ударом для вел. князя: царь рассказывал в письме, что «бедный Николаша» плакал в его кабинете (май 1915 г.), боясь, что он будет заменен более способным человеком. Вдовствующая императрица — записывает Андрей Владимирович — считает, что удаление Николая Николаевича «поведет к неминуемой гибели Ники, так как этого ему не простят... Когда Ники был перед отъездом у нее, она долго его молила подумать обо всем хорошенько и не вести Россию на гибель. На это он ей ответил, что его все обманывают и что ему нужно спасти Россию — это его долг, призвание... Тетя Minny мне еще говорила, что у нее был дядя Алекс (Ольденбургский), который молил ее уговорить Ники не ехать в армию. Он предвидит ужасные последствия до народных волнений включительно».

Записки Яхонтова чрезвычайно ярко передают впечатление, которое произвело в Совете министров сообщение Поливанова о решении царя устранить Николая Николаевича и лично вступить в верховное командование армией. Совет был ошеломлен. Поливанов передавал, что он тщетно пытался отговорить царя, указывая на опасность вступления главы государства в командование в момент деморализации и упадка духа армии: «я не счел себя в праве умолчать о возможных последствиях во внутренней жизни страны». У Сазонова при известии о решении царя «какой-то хаос в голове делается» — «в какую бездну толкается Россия». Кривошеин считает, что «надо протестовать, умолять, настаивать, просить словом — использовать все доступные нам способы, чтобы удержать Его Величество от бесповоротного шага. Мы должны объяснить, что ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне, наносится удар монархической идее, в которой

и сила и вся будущность России. Народ давно... считает государя царем несчастливым, незадачливым[66]. Напротив, популярность вел. кн. еще крепка, и он является лозунгом, вокруг которого объединяются все надежды. Армия тоже, возмущаясь командирами и штабом, считает Николай Николаевич своим истинным вождем». Щербатов полагает, что антиправительственная агитация не пропустит удобного случая — решение царя будет истолковано, как результат влияния пресловутого Распутина: «Не надо забывать, что вел. князь пользуется благорасположением среди думцев за свое отношение к общественным организациям и представителям».

Горемыкин с известным пессимизмом говорит, что «раз дело сделано, его не воротишь»; «Должен сказать Совету министров, что все попытки отговорить государя будут все равно без результатов. По его словам, долг царского служения повелевает монарху быть в момент опасности вместе с войсками... Многие из вас... вероятно, не забыли... как трудно было тогда (в начале войны царь хотел принять верховное командование) переубедить государя[67]. Сейчас же, когда на фронте почти катастрофа, его величество считает священной обязанностью русского царя быть среди войск... При таких чисто мистических настроениях, вы никакими доводами не уговорите государя отказаться от задуманного им шага. Повторяю, в данном решении не играют никакой роли ни интрига, ни чьи либо влияния».

Слова Горемыкина передают отчетливо психологию царя. Последний сам писал, что с «трепетом» принимал командование и не без душевного колебания шел на смену Николаю

---

[66] Каррик записывает рассказ кухарки, слышавшей на рынке: «Царь поехал на фронт, быть беде».

[67] На петергофском совещании все министры, включая и Горемыкина, воспротивились такому намерению. Поддерживал его только Сухомлинов.

Николаевичу»[68]. И как будто бы только мистическое представление о «долге» заставляло его в эти трудные дни быть с царицей и Распутиным против всех, которые предсказывали революцию после смены. Но оставим мистику в стороне. Субъективно положение было таково, что принятие на себя функции верховного командования для царя было единственным выходом, к которому его толкали подчас сами общественные деятели. Прочтите, например, доклад членов военно-морской комиссии Государственной думы, представленный Николаю II 15 августа в связи с Особым совещанием по обороне. Он весь проникнут тенденцией: «только царь может повелеть», «царь может расширить»... «царь может побудить» и т. д. Председателем комиссии, как известно, был Шингарев.

Протоколы заседаний Совета министров довольно образно рисуют нам картину того, что в действительности происходило. Если искать виновников, то, пожалуй, по справедливости, их надо прежде всего искать в Ставке.

Яхонтов начинает свою запись 16 июля заявлением военного министра, т. е. Поливанова: «Считаю своим гражданским и военным долгом заявить Совету министров, что отечество в опасности». Оставляя в стороне характеристику катастрофического положения на фронте, возьмем то, что он говорит о Ставке: «...Ставка не сообщает главе военного ведомства никаких данных о положении боевой линии. Военному министру приходится судить об этом положении на основании... донесений нашей контрразведки о передвижениях в неприятельском лагере... На темном фоне материального, численного и нравственного расстройства армии, есть еще одно явление, которое особенно чревато последствиями

[68] Тихомиров, со слов, очевидно, Грингмута, в дневнике за 1906 г. писал, что царь считает Николая Николаевича «военным гением».

и о котором больше нельзя умалчивать. В Ставке... наблюдается растущая растерянность. Она тоже охватывается убийственной психологией отступления... В действиях и распоряжениях не видно никакой системы, никакого плана... И вместе с тем Ставка продолжает ревниво охранять свою власть и прерогативы. Над всем и всеми царит ген. Янушкевич. Все прочие должны быть бессловесными исполнителями объявляемых им от имени великого князя повелений. Никакой почти критики не допускается...[69] Молчать и не рассуждать — вот любимый окрик из Ставки. Но притом в происходящих несчастьях виновата не Ставка, а все — и люди, и стихии... Словом, ответственны все, кроме того органа, на котором непосредственно лежит ответственность. И эта чреватая последствиями мысль внедряется из Ставки в общественное сознание...» Отметив затем угрожающее настроение раздражения в стране и признаки революционных веяний не только в тылу, по и на фронте, Н. Н. Поливанов воскликнул: «Печальнее всего, что правда не доходит до его величества!»[70]

Заявление военного министра показалось «чуть ли не взрывом бомбы». Яхонтов говорит, что он был не в состоянии записывать последовательно прения: «руки дрожали от нервного напряжения... всех охватило какое-то возбуждение. Шли не прения в Совете министров, а беспорядочный перекрестный

---

[69] Характерно, что царь в письме к жене отметил, что Николаю Николаевичу «явно не понравилась» откровенная критика Кривошеина деятельности Янушкевича и Данилова.

[70] Показательно, что такую характеристику Ставке дает не кто иной, как ген. Поливанов — тот военный министр, который сменил Сухомлинова и при котором, по заключению общественного обвинителя на процессе, сразу наступило благополучие в армии. Сухомлинов в своих воспоминаниях, давая, в сущности, аналогичный материал, характеризует взаимоотношения верховного командования и военного министерства значительно мягче.

разговор взволнованных, захваченных за живое русских людей». Совет министров постановляет представить государю «единодушное ходатайство правительства о неотлагательном созыве военного совета» и указать, что население «недоумевает по поводу внешне безучастного отношения царя и его правительства к переживаемой на фронте катастрофе».

В дальнейшем ходе заседания затрагивается «болезненный вопрос о взаимоотношениях гражданских и военных властей» — о вреде того «двоевластия», о котором говорит в своих воспоминаниях Родзянко и которое отметила указанная записка военно-морской комиссии Государственной думы. Речи членов правительства не менее характерны. «Иной раз, — говорит Кривошеин, — слушая рассказы с мест, думаешь, что находишься в доме сумасшедших... Ставка отдает распоряжения... по гражданской части, без каких-либо сношений с заинтересованными ведомствами. Создается разность политики, путаница в управлении и хаос... Так или иначе, но бедламу должен быть положен предел. Никакая страна, даже многотерпеливая Русь, не может существовать при наличии двух правительств. Или пусть Ставка возьмет на себя все и снимет с Совета министров ответственность... или же пусть она и ее подчиненные считаются с интересами государственного управления».

Пытается внести более спокойную ноту престарелый Горемыкин: «Обращаю ваше внимание на необходимость с особой осторожностью касаться вопроса о Ставке. В Царском Селе накипает раздражение... против великого князя... Огонь разгорается. Опасно подливать в него масло...»

24 июля в заседании обсуждается заявление Кривошеина, что «к нему Ставкою предъявлено решительное требование об издании теперь же монаршего акта, возвещающего о наделении землею... пострадавших и наиболее отличившихся воинов». «Героев надо купить — полагает ближайший

сотрудник великого князя» — восклицает Кривошеин: «необычайная наивность, или вернее сказать, непростительная глупость письма начальника штаба верховного главнокомандующего приводит меня в содрогание... творится что-то дикое. За что бедной России суждено переживать такую трагедию? Я не могу больше молчать, к каким бы это ни привело последствиям»[71]. «Это черт знает что такое», — кричал Сазонов. И вновь выступает убеленный сединами Горемыкин: «Я не возражаю, но... раздражение против него (т. е. вел. кн.) принимает в Царском Селе характер, грозящий опасными последствиями».

30 июня Поливанов еще раз докладывает, что распоряжения Ставки принимают какой-то истерический характер... Вопли оттуда о виновности тыла... усиливаются и являются водою на мельницу противоправительственной агитации... Поливанов говорит о евреях, которых, вопреки неоднократным указаниям Совета министров, поголовно гонять нагайками из фронтовой полосы, обвиняя их всех, без разбора, в шпионаже[72]. 4-го августа Совет министров опять возвращается к этому больному вопросу. Его поднимает министр внутренних дел Щербатов. Тыловые власти выселяют из Галиции тысячи и десятки тысяч австрийских евреев во внутренние русские губернии... Совет министров «неоднократно... обращал внимание верх. гл. и ген. Янушкевича на необходимость отказаться от преследования еврейской массы. Однако Ставка оставалась глухою на всякие доказательства... напротив, когда наше отступление повлекло за собой очистку уже русских губерний... принудительное еврейское переселение выпол-

[71] Как мог ген. Данилов в работе, выпущенной в 1930 г., сказать, что мысль о наделении землей принадлежала Кривошеину и была поддержана вел. кн. Николаем Николаевичем?

[72]Любопытно, что в защиту евреев выступил министр с либеральной репутацией, обвинявший прежде Сухомлинова в покровительстве евреям.

нялось в массовых размерах... что творилось во время этих экзекуций — неописуемо[73]. Такая политика приносит свои плоды, и в армии растут погромные настроения».

Я взял лишь маленькую частичку из того обвинительного материала, который заключают в себе записки Яхонтова. Их можно было бы пополнить и другими однородными фактами[74].

Выход из положения Николай II видел в принятии на себя ответственности, тем более, что сам «верховный» написал ему письмо, по выражению Андрея Владимировича, «панического оттенка». Царь «даже плакал». Объективно здесь не было выхода: вступление императора в командование не могло прекратить господствующую «ерунду», как думал великий князь Андрей Владимирович; но субъективно, по-моему, другого выхода, действительно, для царя не было. Поэтому, естественно, Николай II не внял думским кругам, которые в лице Родзянко «коленопреклоненно» горячо молили царя не принимать на себя непосредственного водительства «нашею славною армией». «Неужели, государь, неясно, — писал председатель Думы 11 августа, — что Вы добровольно отдадите Вангу неприкосновенную особу на суд народа, — а это есть гибель России». Так говорил председатель Думы, но удивительным образом члены Думы в докладе 15 авг. не обмолвились ни единым словом о предполагаемой смене

---

[73] А «народ не понимает, почему несчастные беженцы насильно выселяются» — констатирует доклад думской комиссии

[74] Например, проект Янушкевича массового призыва ратников 2-го разряда, который Кудашев в письме к Сазонову называет «жестоким»: обрекать сотни тысяч необученных людей на гибель для того, чтобы остальным дать

время подучиться. Примером «самовластия» могут служить те переговоры, которые вел вел. кн. с промышленным миром в лице Литвинова-Фалонского, игнорируя министра кн. Шаховского. Примером двоевластия является запрещение принцем Ольденбургским съезда военно-промышленных комитетов.

верховного командования! Не внял царь и письму Воронцова-Дашкова с Кавказа, в котором престарелый наместник говорил, что «неуспех отразился бы пагубно на дальнейшем царствовании Вашем», как не внял и коллективному письму министров, в котором тоже говорилось о тяжелых последствиях для династии[75]. У Яхонтова, со слов Горемыкина, записано: «Все получили нахлобучки от государя императора за августовское письмо и за поведение во время августовского кризиса».

***

В Совете министров при обсуждении решения царя у некоторых членов правительства возникло опасение, что Николай Николаевич может не подчиниться. «Человек он нервный — говорил Харитонов, — впечатлительный, болезненно самолюбивый. Как ни позолоти пилюлю, а факт его увольнения в момент... сплошных неудач на фронте будет равносилен признанию верховного главнокомандующего не отвечающим своему назначению». Поливанов молча разводил руками и пожимал плечами. «Я уверен, — возразил Кривошеин, — что со стороны великого князя не может быть никакой опасности неповиновения. Он глубокий патриот и никогда не решится осложнять и без того критическое положение». Сазонов: «Он не только патриот, но и джентльмен».

Осведомить великого князя об увольнении, по желанию царя, должен был Поливанов — человек достаточно эластичный. Как беспокоился Горемыкин по поводу предстоящего свидания Поливанова с великим князем, показывает совершенно необычайный инцидент, почти трогательный, о кото-

---

[75] По словам Андрея Владимировича. Сазонов позднее признал, что решение Николая II принять на себя верховное командование было правильным.

ром рассказывает Поливанов в своих воспоминаниях: «Старик повторял свое любимое: «что же делать» и при прощании благословил меня и неожиданно, растрогавшись, чмокнул меня в руку». «Не могу скрыть, — добавил Поливанов, — что меня волновала задача передать этому благородному и впечатлительному человеку известие о предстоящем его смещении... Волненье мое усугублялось еще и тем, что предстоящая перемена, по моему твердому убеждению, не могла повести к благим результатам». Впрочем, Поливанов себя утешал тем, что всем руководит промысел Божий[76].

Николай Николаевич принял весть спокойно, а когда узнал, что «Государь просит его занять должность главнокомандующего и наместника Кавказа, то удовольствие его от этого известия сделалось ясно видимым». Было ли в действительности хотя какое-либо основание для тех опасений, которые выходили из узкого круга болезненно подозрительной царицы? Александра Федоровна с исключительным упорством утверждает, что Николай Николаевич замышлял низложить царя, а ее заточить в монастырь и что это не «сплетня». По словам Андрея Владимировича, она говорила жене великого князя Кирилла, что у нее в руках были соответствующие «документы».

Только «больной мозг» царицы мог заподозрить Николая Николаевича в заговоре — утверждает биограф великого князя. Я бы не рискнул утверждать это с такой категоричностью. Атмосфера была такого рода, что царице-матери все время мерещится время императора Павла. С разных сторон шли об этом слухи. И распространялись они в целях дискредитировать Александру Федоровну и как бы подготовить

---

[76] «Не понимаю, чего добивается Поливанов», — записывает в свое время Яхонтов. — «Он всех науськивает и против великого князя, и против принятия командования государем, и против Ивана Логгиновича (Горемыкина)».

общественное мнение. Постоянно регистрируются они в моем московском дневнике, как раз в то время, когда Александра Федоровна жалуется, что «черногорки» распространяют слухи о ее заточении в монастырь. Записаны они и у Каррика. И всюду Николай Николаевич выставляется, как возможный будущий «диктатор» — с демократической тенденцией — защитник слабых и угнетенных. Андрей Владимирович говорит, что сплетничала «тетя Мавра» (Елизавета Маврикиевна). «Можно пока, — дополняет автор дневника, — лишь строить догадки о том, что Ники стали известны какие-то сведения относительно Н. Н. ... в чем дело — мы не знаем»...

Смена верховного командования не вызвала осложнений — «народных волнений» не произошло. Александра Федоровна впоследствии подчеркивала это, цитируя слова «божьего человека»: «Наш друг говорит, что пришла смута, которая должна была быть в России во время или после войны и если... ты не взял бы места Николая Николаевича, то летел бы с престола теперь». Приняв решение, сам царь успокоился. Он писал жене 9 сентября: «Поведение некоторых министров продолжает изумлять меня! После всего, что я говорил им на знаменитом вечернем заседании, я полагал, что они поняли и меня... Что же, тем хуже для них!.. Люди приняли этот шаг (т. е. смену Николая Николаевича), как нечто естественное. Доказательства — куча телеграмм, которые я получаю со всех сторон — в самых трогательных выражениях. Все это ясно мне показывает одно, что министры, постоянно живя в городе, ужасно мало знают о том, что происходит во всей стране. Здесь я могу судить правильнее об истинном настроении среди разных классов народа: все должно быть сделано, чтобы довести войну до победного конца и никаких сомнений на этот счет не высказывается. Это мне официально говорили все депутации... и так это повсюду в России. Единственное исключение составляют Петроград и Москва — две крошечные точки на карте нашего отечества».

Приведенные выдержки показывают, до какого трагического непонимания могут доходить люди — одни, ослепленные политической борьбой, другие — самовнушением.

***

Царицу продолжал беспокоить Николай Николаевич — особенно то, что он задержался в своем имении «Першино» (Тульской губ.): «Милый мой, — пишет царица 3 сентября, — прикажи ему скорее ехать на юг. Всякого рода дурные элементы собираются вокруг него и хотят использовать его, как знамя. Господь этого не допустит, но было бы безопаснее, если бы он скорее уехал на Кавказ. Ты дал ему 10 дней, а завтра уже будет три недели...»

Опасение не так уже было неосновательно. Возможно, что задержка великого князя была естественна — без всякого злого умысла. Но он, действительно, становился некоторым «знаменем». Как утверждал совершенно основательно Горемыкин, «имя великого князя принято преднамеренно в качестве объединяющего лозунга оппозиции». Недаром Московская городская дума несколько демонстративно принимала резолюции о «непоколебимом доверии великого князя верховному главнокомандующему». «Среди молодежи, — докладывает гр. Игнатьев в Совете министров, — идет брожение на почве симпатии к великому князю и признанья нежелательности его увольнения, как вождя, единственно способного противостоять немцам».

Информаторы Охранного отделения осведомляли, что в частных совещаниях представителей земского и городского союзов об удалении великого князя высказывалось определенное мнение, что это является целью блока (черного), так как государя при известной обстановке легче будет уговорить изменить союзникам и заключить сепаратный мир. Близок к подобному толкованию был и Милюков. Агитация проникала в низы. У меня в дневнике занесен факт усиленного

распространения письма якобы Николая Николаевича о том, что его отставка вызвана победой немецкой партии во главе с Распутиным. Директор дипломатической канцелярии при Ставке, Кудашев, пишет 4 сентября о распространенном среди офицеров убеждении, что свергла Николая Николаевича немецкая пария, желающая мира, который будет заключен в октябре. Неумная русская прокламация того времени, а, может быть, вернее, немецкого происхождения, обращаясь к армии от имени императора, говорила о мире и о том, что война затеяна только по интригам Николая Николаевича. Не только обыватели, не только страстные политики, но, казалось бы, и более объективные историки склонны видеть в смене Николая Николаевича нравственную победу Германии (ген. Зайончковский) и, во всяком случае, поворотный пункт царской политики: с этого момента открыт был доступ реакционным силам...

4 января 1916 г. царь писал жене: «Насколько я мог вывести заключение из того, что читал мне сегодня утром Алексеев, Николаша доволен и спокоен». Но не спокойна Александра Федоровна. Она боится наметившегося приезда вел. князя в Ставку в октябре: «Как бы он не натворил бед со своими приверженцами! Не позволяй ему заезжать куда бы то ни было, пусть он прямо возвращается на Кавказ, иначе революционная партия опять станет его чествовать».

6 ноября Николай Николаевич имел интимную беседу с царем. Его разговор «в очень резкой форме», по записи Андрея Владимировича со слов великого князя — был приблизительно таков: «Я хотел вызвать его на дерзость. Но он все молчал и пожимал плечами. Я ему прямо сказал: «Мне было бы приятнее, чтобы ты меня обругал, ударил, выгнал вон, нежели твое молчание. Неужели ты не видишь, что ты теряешь корону? Опомнись, пока не поздно. Дай ответственное министерство. Еще в июне я тебе говорил об этом. Ты все

медлишь. Смотри, чтобы не поздно было потом... Как тебе не стыдно было поверить, что я хотел свергнуть тебя с престола!.. Стыдно, Ники, мне за тебя». В таком духе я говорил — он все молчал. Еще накануне, 5 ноября, Шавельский с ним долго говорил на эту же тему и тоже ничего. После этого я понял, что все кончено и *потерял надежду на его спасение.* Ясно было, что мы катимся быстро по наклонной плоскости и рано или поздно он корону потеряет». Эта беседа показательна. Николай Николаевич с этого момента как бы считает, что его руки развязаны[77]. Удивительно, что царь своей жене не обмолвился об этом тягостном по форме разговоре с Николаем Николаевичем. Мало того, Александра Федоровна убеждена была, что никакого разговора с Николаем Николаевичем в Ставке не было. Царь, очевидно, не хотел подливать масла в огонь. Старались об этом другие.

«Надеюсь, что неправда, будто Никол, приедет к 17-му... Не пускай его злого гения», — упорствует Александра Федоровна 14 декабря. Ее подозрительность возбуждается сплетнями не одной только «тети Мавры». Еще 31 августа 1915 г. Николай II пишет: «Сандро (т. е. Александр Михайлович) очень доволен переменой, сказал мне то же самое, что тебе писал Николай Михайлович, и изумлялся тому, что я так долго терпел это фальшивое положение». Мы не знаем, что писал Николай Михайлович царю, но нам известно, что писал он царю в апреле 1916 г.: «Относительно популярности Николаши скажу следующее: эта популярность была мастерски подготовлена из Киева Милицей, совсем исподволь и всеми способами — распространением в народе брошюр, всяких книжонок, лубков, портретов, календарей и т. п.

---

[77] Политический фольклор отметил уже тогда беседу Николая Николаевича с царем, приписав первому такую формулировку: «Смотри, не доведи до того, что вместо Николая II будет Николай III».

Благодаря такой продуманной подготовке популярность не упала после потери Галиции и Польши и снова возросла после кавказских побед. С самого начала кампании я неоднократно писал твоей Матушки и предупреждал о киевских интригах... Теперь я свободно говорю... и повторяю, что на Кавказе Милица не дремлет. Смею тебя уверить, по моему глубокому убеждению, что в *династическом* отношении меня эта популярность *тревожит*, особенно при том возбужденном состоянии нашего общественного мнения, которое все яснее обрисовывается в провинции. Популярность эта вовсе не идет на пользу престола или престижа императорской фамилии, а только муссирования мужа великой княгини славянки, а не немки, равно как и его брата и племянника Романа. При возможности великих смут после войны, надо быть начеку и наблюдать зорко за всеми ходами для поддержания сей популярности». «Других вариантов в династическом отношении, — заканчивает Николай Михайлович свое письмо, — я не признаю и признавать не буду».

В сентябре у Николая Михайловича нет чувства надвигающейся катастрофы. Он рассуждает о подготовке мирной конференции, не допуская «дурного исхода войны». Он очень недоволен, что Сазонов нс хочет взять его себе в помощники и обиженно говорит о «все возрастающей популярности Николаши». «Нахожу странным, что Н. Н. может нести и уже нес громадную ответственность, а я не могу нести никакой». И становится как-то малопонятной та резкая перемена, которая в ноябре совершается в психологии великого князя-историка. Очевидно, люди слишком склонны действовать под влиянием переменчивых настроений, зависящих от внешних флюидов. В своем известном письме 1 ноября Николай Михайлович писал: «Неоднократно ты мне высказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают... Я долго колебался открыть всю истину, но после того, как твоя ма-

тушка и твои сестры меня убедили это сделать, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений, скажу больше — накануне эры покушений. Поверь *мне:* если я так напираю на твое собственное освобождение от создавшихся оков, то я это делаю... только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину от самых тяжких и непоправимых последствий».

2. После убийства Распутина

14 января 1917 г. капитан 1 ранга в балтийском флоте Ренгартен записал в свой интереснейший дневник: «Черкасский рассказал мне, что в ноябре несколько великих князей собрались в Ставке и приступили к царю с предложением — дать стране конституцию, а императрицу объявить больной, поселить в санатории или увезти за границу. Будто государь обещал подумать, но потом снесся с Царским Селом и на другой день определенно отказал». Такого факта никогда, конечно, не было, но рассказ, занесенный в дневник, характерен для момента. В ноябре, помимо разговора с великим князем Николаем Николаевичем, приведенного выше с его собственных слов, и указанного письма Николая Михайловича[78], писал царю из армии 11 ноября еще Георгий Михайлович: «Положительно у всех заметно беспокойство за тыл, т. е. за внутреннее состояние России. Прямо говорят, что если внутри России дела будут идти так, как теперь, то нам никогда не удастся окончить войну победоносно, а если это не удастся, то тогда конец всему».

В «тылу» атмосфера накалялась. Бурно настроены придворные круги; Юсупова мать пишет своему сыну 25 ноября: «Теперь поздно, без скандала не обойтись, а тогда можно

[78] Оно было воспроизведено в первые дни в «Русском слове» по тексту, полученному редакцией от автора.

было все спасти, требуя удаления управляющего на все время войны и невмешательства Валиде в государственные вопросы. И теперь, я повторяю, пока эти два вопроса не будут ликвидированы, ничего не выйдет мирным путем, скажи это дяде Мише (т. е. Родзянко) от меня». Валиде — это царица, управляющий — тот «Гришенька», который, по преувеличенному представлению Гиппиус, «в свободные от блуда и пьянства часы управляет Россией»[79]. Мать Феликса Юсупова в каждом письме говорит о необходимости обезвредить и укротить «Валиде». Жена Родзянко, с своей стороны, сообщает Юсуповой, что Николай II «панически» боится жены и что «без помощи ему не избавить нас от ее пагубного влияния. Недавно к Мише таинственно приезжал великий князь Михаил Александрович, как мне кажется, подосланный негласно братом...»

Едва ли можно сказать, что Распутин пал жертвой только «жалкой паники и интриг» великих князей (слова Милюкова). Этот акт был выполнен, конечно, не только по мотивам придворно-династическим. Убийцами руководили и соображения патриотические в прямом смысле слова. Боялись не только «грандиозного скандала», который может закончиться «страшной революцией», о чем пророчествовал Илиодор. Верили и в немецкую интригу, оплетшую распутинское окружение.

По словам Белецкого, Трепов, в бытность председателем Совета министров, пытался Распутина подкупить. Наконец, прибегли к более решительному способу устранения вредного человека в уверенности в общем сочувствии к такому убийству.

---

[79] По показаниям Манасевича-Мануилова, именно у Распутина в «тайниках души» зрела мысль о регентстве Александры Федоровны, так как «папаша ничего не понимает» и «негож».

Молодой Юсупов писал 17 декабря императрице по поводу «ужасного обвинения», на него возведенного: «Я не нахожу слов, ваше величество, чтобы сказать вам, как я потрясен всем случившимся и до какой степени мне кажутся дикими те обвинения, которые на меня возводятся»[80]. Но в действительности великосветское общество с первого дня его уже фетировало, и петербургская газета «День» в своеобразной форме довела до сведения своих читателей об исключительном успехе, который имел на одном из раутов известный исполнитель цыганских романсов Сумароков-Эльстон, — его качали и засыпали цветами.

Вместе с тем большое негодование в великокняжеской среде вызвало отношение царской семьи к убийству — особенно то, что Распутин был похоронен в Царском Селе. К еще большему возмущению привела кара, постигшая в. кн. Дмитрия Павловича. 19 декабря Андрей Владимирович записал: «Кирилл, Гавриил и я — мы заехали к Дмитрию заявить ему, что, не вникая вовсе в вопрос, виновен ли он или нет в убийстве Распутина, мы все стоим за него, и он может вполне на нас рассчитывать. Что бы ни случилось, мы будем за него». Возбуждение, вызванное немилостью к Дмитрию Павловичу, усиливалось уверенностью, что Дмитрий Павлович не принимал участия в убийстве. «Дмитрий, — рассказывает Андрей Владимирович, — торжественно поклялся, что в эту знаменитую ночь он Распутина не видел и рук своих в его крови не марал». То же самое Дмитрий Павлович заявил отцу, «поклявшись на образе и портрете матери».

Николай II отказался, несмотря на просьбы дяди своего Павла Алекс., отменить домашний арест Дмитрия Павловича

---

[80] В отрывках воспоминаний в. кн. Марии Павловны (молодой), приведенных в «Иллюстрированной России», подчеркивалось, что только Дмитрий Павлович остался верен слову и не раскрыл «тайны». Большого гражданского мужества в эти дни Дмитрий Павлович однако, не проявил.

до окончания следствия: «Молю Бога, — писал он в ответ, — чтобы Дмитрий вышел из этой истории, куда его завлекла его горячность, чистым».

***

Поденную запись о семейных совещаниях мы имеем в дневнике Андрея Владимировича, 21 декабря: «В 5 ч. у меня собрались: мама, дядя Павел, Кирилл и Борис, а позже Сандро... Мы обсуждали, что же будем делать дальше, ежели Ники все же не освободит Дмитрия и поведет следствие до конца. Тогда решили, что дядя Павел снова поедет к Ники и покажет всю опасность создавшегося положения». 22 декабря: «Сандро был в Царском Селе, но ровно ничего не добился». 23 декабря семья узнала о высылке Дмитрия в Персию. «Я немедленно позвонил Кириллу... Я просил и Гавриила приехать. Скоро все приехали, и надо было решить, что предпринять. Попытаться ли спасти Дмитрия и помешать его отъезду или предоставить событиям идти своей чередой. Решили последнее, но все же мы хотели иметь мнение председателя Государственной думы М. В. Родзянко, но он отказался приехать из-за позднего часа — было уже 12 ч., боясь вызвать излишние толки». 24 декабря: «В 2 ½ ч. у мамы был Родзянко, Кирилл и я, мы приехали к этому времени. Родзянко стоял на той точке зрения, что непосредственно он нам в этом деле помочь не может, не имея власти, но морально он безусловно на нашей стороне... В Думе будут реагировать очень серьезно на все это».

Рассказ об этом свидании можно почерпнуть и в воспоминаниях самого Родзянко — он только ошибочно его отнес к январю. Свидание Родзянко назвал «странным». Ему показалось подозрительной «настойчивость» великой княгине Марии Павловны, звавшей его приехать в такой поздний час: «это было похоже на заговор». Родзянко отложил ответ на

четверть часа. За это время он, как рассказывал мне А. И. Гучков, совещался с ними и с Савичем. Ровно через 15 минут опять звонок и голос Марии Павловны: «Ну, что же, вы придете?» Родзянко отказался поехать ночью и обещался поехать на другой день к завтраку. Завтрак проходил «в шутливом тоне и о важном деле не было произнесено ни слова». Наконец, Кирилл Вл. обратился к матери и сказал: «Что вы не говорите?» Тогда Мария Павловна стала говорит о внутреннем положении, о вредном влиянии императрицы, «благодаря которому создается угроза царю и всей царской фамилии». Такое положение «дольше терпеть невозможно» и «надо изменить, устранить, уничтожить». «Кого?» — спросил Родзянко. — «Императрицу». — «Ваше высочество, — сказал я, — позвольте мне считать этот наш разговор как бы не бывшим, потому что если вы обращаетесь ко мне как к председателю Думы, то я по долгу присяги должен сейчас же явиться к государю императору и доложить ему, что вел. княгиня Мария Павловна заявила мне, что надо уничтожить императрицу...»[81]

Совещания в «салоне» Марии Павловны продолжались. Из других источников я знаю о каком-то таинственном совещании на загородной даче, где определенно шел вопрос о цареубийстве: только ли императрицы? Но я не нашел подтверждения словам И. П. Демидова в докладе «Мировая война и русская революция» (с ссылкой на Родзянко), что предложение в эти дни захватить Царское Село при содействии гвардейских частей не осуществилось в силу отказа Дмитрия Павловича. Такая версия имеется только в дневнике Палеолога. Вхожий в салон великой княгини Марии Павловны, осведомленный о многих интимных там разговорах,

---

[81] Слухи о разговоре Марии Павловны с Родзянко проникли широко в общество — они тогда же были зарегистрированы Карриком.

Палеолог говорит, что великие князья, среди которых ему называют сыновей Марии Павловны, предполагали при помощи четырех гвардейских полков (Павловского, Преображенского, Измайловского и личного конвоя) ночью захватить Царское Село и принудить императора отречься. Императрицу предполагалось заточить в монастырь и провозгласить наследника царем при регентстве Николая Николаевича. Надеялись, что в. кн. Дмитрий Павлович, после убийства Распутина, сможет стать во главе войск. Великие князья Кирилл и Андрей всемерно старались убедить Дмитрия Павловича довести до конца дело национального спасения. Но Дмитрий Павлович, после долгой борьбы со своей совестью, отказался поднять руку на царя. Надо сказать, что настроение Дмитрия Павловича, человека «бесхарактерного», как много раз подчеркивает доброжелательная к нему Александра Федоровна в своих письмах, было весьма пониженное перед высылкой: после отъезда, по свидетельству Андрея Владимировича, с ним произошел даже «нервный припадок».

Люди действовали под влиянием своего рода психоза. Как иначе объяснить то, что в более спокойном состоянии Андрей Владимирович заносил в дневник со слов матери (6 сентября): «На днях Алике заехала к маме... чай пить. Следует отметить, что за двадцать лет это в первый раз, что Алике без Ники приезжает к мама. Но самое интересное, это разговор, который производил впечатление искреннего горя по поводу текущих событий... Алике смотрела на вещи именно так, как мы смотрели, и все, что она говорила, было ясно, положительно, верно... Этот эпизод в нашей семейной жизни важен в том смысле, что дал нам возможность понять Алике. Никто ее в сущности не знал, не понимал, а потому и создавали догадки, предположения, перешедшие впоследствии в целый ряд легенд самого разнообразного характера...». А через три месяца говорят уже об ее «уничтожении»!

Не наша задача разрушать психологические загадки. «Цареубийство» означает переворот. Он становится неизбежным в сознании этой среды. «Общее негодование растет каждый день, — продолжает записывать Андрей Владимирович, — все семейство крайне возбуждено, в особенности молодежь, их надо сдерживать, чтобы не сорвались... Нехорошие назревают события, но сами идут в пасть — страшно, но судьба да руководит нашей святой Русью!»

***

Возбуждено все великосветское общество. С каким-то воплем жена Родзянко пишет своей корреспондентке: «Никогда Россия не видела таких черных дней и таких недостойных представителей монархизма». Они «губят всех нас». Юсупов говорит матери: «Все живем, как на вулкане... сплошной ужас, и долго длиться так не может». «Теперь, кроме ответственного министерства, ничего не остается» — отвечает мать. «Потерявшее голову великосветское общество, — свидетельствует полицейский ген. Курлов, — громко говорило о необходимости дворцового переворота. Эта мысль встречала сочувствие среди некоторых членов царствовавшего дома». Жена Родзянко отмечает рост ненависти уже к «обоим». «Мысль о принудительном отречении царя, — рассказывает в воспоминаниях сам Родзянко, — упорно проводилась в Петрограде в конце 1916 и начале 1917 гг. Ко мне неоднократно и с разных сторон обращались представители высшего общества и заявляли, что Дума и ее представитель обязаны взять на себя эту ответственность перед страной и спасти армию и Россию... Многие при этом были искренно убеждены, что я подготовляю переворот и что мне в этом помогают многие из гвардейских офицеров и английский посол Бьюкенен. Меня это приводило в негодование и, когда люди проговаривались, начинали на что-то намекать или откровенно говорить о перевороте, я отвечал им всегда одно и

то же: «Я ни в какую авантюру не пойду... Дворцовые перевороты не дело законодательных палат, а поднимать народ против царя — у меня нет ни охоты, ни возможности».

Об одном совещании информирует нас Палеолог, повидимому, на нем присутствовавший. Собрались 5 января у представителя промышленного мира Богданова. Среди других присутствовали великий князь Гавриил, проф. Озеров, Путилов, моряк гр. Капнист. «Шампанское помогало тому, что языки развязывались. Озеров и Путилов, обращаясь к великому князю Гавриилу, указывали, что для спасения династии и монархического режима единственным выходом является низложение царя и провозглашение императором цесаревича под регентством великого князя Николая Николаевича. Гавриил Константинович не протестовал и ограничился только некоторыми практическими указаниями, обещав вместе с тем довести до сведения своих родственников о том, что говорилось на обеде».

Через несколько дней другой обед у Гавриила Константиновича. О нем вновь рассказывает Палеолог, удивляясь несерьезной обстановке, при которой поднимались самые ответственные разговоры. Обед происходил у возлюбленной в. князя. Присутствовали Борис Владимирович, Игорь Константинович, Путилов и несколько гвардейских офицеров. В течение всего вечера говорят о заговоре, о гвардейских полках, на которые можно рассчитывать, когда дело приблизится к выполнению. Все это говорится под винными парами шампанского в присутствии цыганок и va et vien домашней прислуги.

***

Естественно, что разговоры просачивались в более широкие круги. Ренгартен записывает: «А слухи!!! Говорят о проскрипционном списке «15», приговоренных к смерти: 1-ый пал Распутин, 2-ая, она — императрица, будто на нее уже

было покушение, говорят, что гвардия замышляет государственный переворот... Говорят много и, конечно, большая часть ложь...» Слухи ползли. У Каррика 10 января отмечен слух, что убиты царь и Вырубова, а государыня ранена. Через несколько дней он регистрирует молву о покушении на царицу, в которую якобы стреляли какие-то князья Гагарин и Голицин[82].

О дворцовом перевороте начинают говорить все больше и больше — намечается даже день: 12 января. Бывший в эти дни в Петербурге начальник британской разведки при ген. штабе, Хор, доносил в Лондон: «Дума и армия могут провозгласить Временное Правительство. Я не думаю, чтобы это случилось, хотя эта возможность гораздо ближе, чем это кажется. Второе — император может уступить, как он уступил в 1906 г., когда была учреждена Дума. В-третьих, — дела могут и дальше кое-как плестись. Вторая и третья альтернативы мне кажутся наиболее вероятными. Особенно последняя»[83].

Родзянко возмущается: «Все негодовали, все жаловались, все возмущались... но дальше разговоров никто не шел. Между тем, если бы все объединились и если бы духовенство, ученые, промышленники, представители высшего общества объединились и заявили бы царю просьбу или даже обратились бы с требованием прислушаться к желаниям народа — может быть, и удалось бы чего-нибудь достигнуть». Предпочитали грозить «за спиной переворотом».

В сложившейся обстановке индивидуальные обращения не могли уже достигнуть цели — слишком раздражена была царская семья и слишком силен был в ней фатализм. К числу

---

[82] Записано у Каррика и другое преломление в народном «фольклоре» тогдашних политических событий: убит де Распутин для того, чтобы посадить великого князя Николая Николаевича на престол и заключить мир.

[83] Эти донесения воспроизведены в вышедшей недавно книге Хора «Четвертая Печать».

таких индивидуальных обращений можно было бы отнести написанное в четыре приема письмо наиболее близкого царю из среды великих князей, Александра Михайловича, начатое 25 декабря, но фактически отосланное лишь 4 февраля[84]. Письмо свое Александр Михайлович заканчивал такими словами: «Как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготавливает революцию — народ ее не хочет... Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу». Что же давал великокняжеский совет? Ослабить репрессии, которые «искусственно толкают нетвердых в убеждениях людей в лагерь левых». Александр Михайлович — принципиальный противник министерства, ответственного перед Думой. Этого допускать нельзя. «Разумеется, власть должна состоять из лиц... чистых, либеральных и преданных монархическому принципу», пользующихся доверием страны: «Всякие попытки со стороны левых элементов Думы должны быть подавляемы — с чем, я не сомневаюсь, справится сама Дума, если же нет, то Дума должна быть распущена, а такой роспуск Думы будет страной приветствоваться».

Не будем разбирать, насколько практичны были советы Александра Михайловича. В тот момент, о котором идет сейчас речь, царь читать эти письма еще не мог. И он и царица знали о других «разговорах», как клубных, так и более интимных. За эти клубные разговоры, за разговоры о «неподобающих вещах» был выслан 1 января из Петрограда великий князь Николай Михайлович. Эти разговоры в яхт-клубе, куда Николай Михайлович заходил «играть в карты», он отрицал. Но, быть может, клубные разговоры только внешний повод — фактически, опала могла постигнуть Николая Михай-

---

[84] Приезжала в декабре «усовещевать» из Москвы и великая княгиня Елизавета Федоровна.

ловича как раз за поездку инкогнито в Тифлис после убийства Распутина. Мы увидим, что царь был достаточно осведомлен обо всех более или менее «заговорщицких» разразговорах[85].

В петербургской атмосфере легко должна была родиться мысль о зондировании почвы у великого князя Николая Николаевича, самого популярного и авторитетного из членов великокняжеской среды. Насколько была значительна эта популярность перед революцией, показывает тот факт, что при отъезде с Кавказа в революционные дни, вновь на пост верховного главнокомандующего, его повсюду сопровождали довольно восторженные встречи. Мы должны обратить внимание, что во всех комбинациях, о которых рассказывает Палеолог, всюду в. князь фигурирует в качестве регента. В других комбинациях не всегда преемником низложенного монарха выступает его прямой наследник. В некоторых кругах, очевидно, намечался молодой Лейхтенбергский — пасынок вел. князя[86]. Генерал Данилов в биографии Николая Николаевича объясняет комбинацию с возглавлением великого князя тем, что многие опасались болезни наследника и слабоволия Михаила Александровича. Объяснения можно дать различные.

Связью между «великосветскими» разговорами и дворцовым переворотом и аналогичными начинаниями, рождавшимися в общественной среде, легко мог явиться Николай

---

[85] В обществе в связи с высылкой Николая Михайловича распространялось сенсационное сообщение о раскрытии «заговора 47», имевшего целью заточение царицы в монастырь.

[86] Впоследствии Лейхтенбергский оказался связанным с «организацией» Пуришкевича. «Национальная партия» последнего, по сведениям информаторов Департамента полиции, также «путем дворцового переворота», как будто собиралась «спасти Россию от революции и позорного мира».

Михайлович, до некоторой степени соприкасавшийся с некоторыми кругами этой общественности. Наиболее естественной связью, казалось бы, мог сделаться председатель Государственной думы. С ним постоянно видится Николай Михайлович — утверждает царица. В декабрьские дни с Родзянко беседуют не только члены оппозиционного салона Марии Павловны. «Семья в тревожном состоянии», и Родзянко — сообщает его жена Юсуповой — «приходится видеть много родственников Ирины, которые прекрасно все понимают, что спасение только в Думе». Но Родзянко был действительно чужд «заговора». Великокняжеские «заговоры» сами по себе скоро заглохли. Государь «сознавал вред активной роли, которую играли в оппозиционной среде члены его семьи» — говорит в своей «предсмертной» записке Протопопов. «Ему казалось лучшим средством удаление их из пределов России. Война мешала ему привести в исполнение свою мысль. Временно несколько великих князей были высланы в свои деревни». А остальные тревожно и настойчиво спрашивали председателя Государственной думы: «Когда же произойдет революция?». С необычной образностью, но как будто излишней, в. кн. Кирилл в своем первом «революционном» интервью с представителями газет подвел итог: «Мой дворник и я, мы одинаково видели, что со старым правительством Россия потеряет все».

Глава VI. Военный переворот

1. Заговор Гучкова

Мы проникли в самую гущу заговорщицких разговоров. Перевернутая «великокняжеская» страница свидетельствовала больше о растерянности, чем о серьезных планах. Но были и такие планы. И, конечно, среди тех начинаний, которые носили черты реальные и приобрели характер некоторой организованности, на первое место нужно поставить предположения группы, возглавляемой А. И. Гучковым.

По своему прошлому, по некоторым чертам своего характера, Гучков, склонный к приемам младотурок, может быть, более других подходил на роли конспиратора и руководителя в организации дворцового переворота. Таким он рисовался не только в воображении царицы, писавшей 17 сентября (1915 г.): «...все знают, что Гучков работает против нашей династии»; «Гучкова не следует пускать на фронт» — настойчиво повторяет Александра Федоровна 7-го января — «и позволять... говорить с войсками». В заседании Совета министров 6 августа 1916 г. в связи с письмом Гучкова от имени военно-промышленного комитета о необходимости изменения политического курса, речь поднимается о нем самом, о его «авантюристической натуре» и о его «непомерном честолюбии», которые могут при ненависти к Николаю толкнуть его «на любые средства для достижения цели»: его считают способным — говорит Хвостов (А. А.) — в случае чего встать во главе батальона и отправиться в Царское. Военно-промышленный комитет под влиянием Гучкова сделался организационным центром той части общественных сил, которые не входили в земский и городской союзы, — таково мнение правительства.

А. И. Гучков, по-видимому, один из первых разочаровался в тех путях воздействия па власть, которые он рекомендовал на сентябрьском городском съезде. Вместе с тем глубокий реалист, умеренный в своих политических взглядах, прекрасно сознавал всю опасность борьбы с властью во время войны и в смутные дни общественной неустойчивости. В известном письме к ген. Алексееву, ходившем широко по рукам, Гучков писал 15 августа 1916 г.: «Наши способы борьбы обоюдоострые и при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализировать. Я уже не говорю, что нас ждет после войны — надвигается потоп, а жалкая, дрянная, слякотная власть готовится встретить этот катаклизм теми мерами, которыми ограждают себя от хорошего проливного дождя: надевают галоши и раскрывают зонтики. Можете ли вы что-нибудь сделать? Не знаю. Но будьте уверены, что наша отвратительная политика... грозит пресечь линии вашей хорошей стратегии в настоящем и окончательно исказить ее плоды в будущем».

Но, в противоположность Львову, Гучков в действительности на первый план выдвигает не войну, а возможности внутреннего «катаклизма». Еще на сентябрьском съезде, как в свое время мы видели, он говорил о грядущей революции и призывал власть пойти «на соглашение с требованиями общества», чтобы избежать «ужасных последствий». С этой точки зрения он и разрешал поставленную Маклаковым проблему о шофере — его во что бы то ни стало надо упразднить. «Исторической виной... руководящих кругов, — говорил впоследствии Гучков на московском государственном совещании, — я признаю,.что когда выяснилась возможность дальнейшего сотрудничества с властью, что когда удаление этой власти стало условием спасения родины, эти руководя-

щие круги не взяли на себя самостоятельного руководства, а только присоединились к участию в нем наравне с другими, когда произошел стихийный сдвиг». Само общество, таким образом, ответственно за то, что мартовский государственный переворот произошел не в безболезненных формах дворцовых перемен. «Я пульс армии нащупал», — утверждал Гучков в показаниях Следственной комиссии Временного правительства. Переворот, совершенный «верхами армии» при участии политических и общественных деятелей, был бы встречен сочувственно всеми, сверху до низу». По словам Гучкова, «дело оказалось бы чрезвычайно легким», если бы шел вопрос о том, чтобы «поднять военное восстание, будь то на северном или румынском фронте», не представляло трудности поднять и петроградский гарнизон, но «мы не желали — пояснял Гучков — касаться солдатских масс». «Я был убежден, что солдаты пойдут на это дело, что было бы достаточно одного приказания, чтобы их повели куда нужно и когда нужно». Заговорщики хотели иметь дело «не со всей армией, а с очень небольшой ее частью». Надо было найти части, которые были бы расположены для целей охраны по железнодорожному пути и при посредстве которых можно было бы захватить императорский поезд и «вынудить» отречение у царя.

***

А. И. Гучкову давно бы следовало подробно рассказать в печати то, что он сообщил в своих показаниях — только тогда можно было бы избежать гипотез. О возникновении своего «заговора» Гучков в частной беседе рассказывал так: «В середине ноября 1916 года в Петрограде, в конторе М. М. Федорова состоялось политическое совещание преимущественно думских деятелей из левого круга прогрессивного блока». Очевидно, это было одно из тех неопределенных совещаний,

о которых упоминает Милюков. Из более правых были позваны Гучков и Савич. Последний не пошел. Среди присутствовавших находились Милюков, Шингарев, Коновалов, повидимому, Маклаков. Гучков был несколько удивлен, встретив среди «думцев» молодого Терещенко. Обсуждали общее положение, искали выход, говорили о том дворцовом перевороте, который был на устах у стольких людей. Предусмотрительные государствоведы из партии народной свободы принесли с собой свод законов и рассуждали о регентском совете. Гучков высказывался наиболее определенно — кто совершит переворот, тот и будет иметь силу, тот и будет разрешать все сомнения и вопросы. Это было собрание без решений.

После к Гучкову приехали Некрасов и Терещенко, подчеркнувшие полную свою солидарность с тем, что говорил Гучков. Так будто бы создался конкретный план заговора и комитет «трех», который должен был подыскать подходящую воинскую часть. Гучков все время подчеркивает, что действия их были изолированы и ни с какими иными «заговорщиками» они не были связаны. Лишь после — в дни уже революции — Гучков узнал о проектах кн. Львова и о существовании военной морской группы в Ставке. Заговорщики из среды «комитета трех» считали опасным действовать в Ставке или в Царском Селе. Желая избежать кровопролития, они намечали как арену действий одну из железнодорожных станций на царском пути в Новгородской губ., где в одном из бывших аракчеевских поселений была расположена запасная гвардейская часть, с которой был связан привлеченный к делу или сам даже пришедший к нему кн. Д. Вяземский, — сын известного члена Государственного совета, бывшего управляющего уделами, в свое время потерпевшего по службе за свой либерализм.

Главный творец заговора пока не называет других имен. Не будем и мы пока стараться проникнуть в эту тайну, хотя

некоторая завеса уже приподнялась. Терещенко в своем интервью с сотрудником «Русских ведомостей» упоминает, что один из участников заговора погиб 28 февраля от случайной пули на улицах Петрограда. Это и был камер-юнкер кн. Вяземский, уполномоченный Красного Креста, стоявший во главе летучего санитарного отряда «имени Великого Князя Николая Николаевича», который был сооружен на средства Бегового Общества. Отряд входил в состав того района, которым заведовал Гучков в качестве Особо уполномоченного Красного Креста[87]. В сущности, важно было бы установить, кто из военных, примкнувших к заговорщицкому кружку, был связан с великим князем Николаем Николаевичем.

Из намеков Гучкова в показаниях Следственной комиссии Временного правительства ясно, что у него были непосредственные связи с румынским и северным фронтами; имел свидания Гучков и с некоторыми великими князьями, или во всяком случае с теми из них, кто, можно думать, участвовал в «заговорщицких» переговорах с общественниками, т. е. с Николаем Михайловичем. Имели такие же сношения и другие члены «Комитета трех».

Подготовка шла медленно. Предполагалось к марту подтянуть в Петроград верные воинские части. Это — свидетельство самого Гучкова. Генерал Половцев в своих воспоминаниях «Дни затмения», в свою очередь, подтверждает эту версию со слов того же Гучкова. Он рассказывает, что в одну из ранних бесед во время революции план дворцового

---

[87] Погиб кн. Вяземский не 28 февраля, а в ночь на 2 марта, когда Гучков по поручению Думского Комитета объезжал петроградские казармы. «Когда мы проезжали на автомобиле мимо казарм Семеновского полка, где солдаты громили офицерские квартиры, — рассказывает Гучков, — нас сильно обстреляли». Тогда именно тяжело был ранен в спину спутник Гучкова. Раненый Вяземский был перенесен в одну из разгромленных квартир. Последними словами его были. «Ведь сколько раз не брали меня немецкие пули — обидно умирать от русской».

переворота Гучков изображал так: «Предполагалось уговорить царя поочередно приводить гвардейские кавалерийские полки в столицу на отдых и для поддержания порядка, а затем выманить царя из Ставки и при помощи кавалергардов совершить дворцовый переворот, добившись отречения в пользу цесаревича и регентства. Все это должно было произойти в середине марта».

Рассказ Половцева проливает некоторый свет на неясную еще историю с вызовом гвардейских частей с фронта перед революцией. «...А. Д. Протопопов поразил меня совершенно конфиденциальным сообщением... — рассказывает Курлов — о своих усилиях к выводу из Петрограда запасных полков и к замене их гвардейской кавалерией с фронта. Правда, легкомысленно добавил он, что начальники дивизий просили государя, как милости, не трогать их частей с фронта. По его словам, государь... повелел вызвать в столицу любимый им гвардейский экипаж, антиправительственное настроение которого не было для меня тайной и до войны...» Тут Курлов будто бы пришел к определенному убеждению, что «все кончено». И в показаниях перед Следственной Комиссией, и в «предсмертной записке» Протопопов уверяет, что ген. Гурко прислал не те части, вызвать которые приказал царь: вместо верной де гвардейской кавалерии были посланы революционно настроенные матросы. Генерал Гурко будто бы сознательно не выполнил приказа царя. Я боюсь делать какие-нибудь определенные выводы. Отмечу только, что, по сведениям Департамента полиции[88], Гучков имел свидание с ген. Гурко, и об этом свидании Протопопов довел до сведения царя. Оказалось, что царь был вообще «в курсе дела».

---

[88] По словам Протопопова, за Гучковым усиленно следил Департамент полиции, велся список посещавших его лиц. Известны были полиции и собрания военных, которые устраивал Гучков на Сергиевской.

Реальную выполнимость своего плана в письме ко мне А. И. Гучков оценил так: «Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных военных к заговору привлечь не удалось».

2. Генерал Крымов

Пессимизм А. И. Гучкова в исторической перспективе как будто не совпадает с той оценкой подготовленности заговора, которую, по словам Половцева, давал Гучков в цитированной выше беседе. Тогда он говорил: «Революция, к сожалению, произошла на две недели слишком рано». Собеседник мог и неточно воспроизвести разговор. Но буквально в аналогичных же выражениях высказывались впоследствии и другие участники тройки.

После самоубийства участника Корниловского движения генерала Крымова М. И. Терещенко выступил с интервью. Терещенко говорил: «Я не могу не вспомнить последних месяцев перед революцией, когда ген. Крымов оказался тем единственным генералом, который из великой любви к родине не побоялся вступить в ряды той небольшой группы лиц, которая решилась сделать государственный переворот... Генерал Крымов *неоднократно* приезжал в Петербург... и пытался убедить сомневающихся, что больше медлить нельзя. Он и его друзья сознавали, что если не взять на себя руководства дворцовым переворотом, его сделают народные массы, и прекрасно понимали, какими последствиями и какой гибельной анархией это может грозить. Но более осторожные лица убеждали, что час еще не настал. Прошел январь, половина февраля. Наконец, мудрые слова искушенных политиков перестали нас убеждать, и тем условным языком, которым мы между собой сносились, генерал Крымов *в первых числах марта* был вызван в Петроград из Румынии, но оказалось уже поздно».

Таким образом, и Терещенко подтверждал, что заговорщики уже готовы были приступить к действию в начале марта. По его словам выходит, что не те трудности, о которых говорил Гучков, а убеждения «искушенных политиков» задержали осуществление переворота. Едва ли это было так. Действительно, ничего серьезного не было подготовлено. Переворот планировался, но не осуществлялся.

Терещенко так определенно свидетельствует о непосредственном участии в заговоре ген. Крымова. Он не только участвует, но до некоторой степени является его прямым вдохновителем. Между тем Гучков столь же категорически заявляет, что Крымов в этом заговоре участия не принимал. Кому бы знать, как не Гучкову? Крымов сочувствовал перевороту, может быть, знал о нем от других лиц, но не был посвящен в организацию дела. Как объяснить такое разительное противоречие у двух участников «тройки»? Казалось бы, что Гучкову, нарисовавшему абрис заговора, в официальных показаниях нет никакого основания скрывать об участии покойного Крымова. Не мог этого А. И. Гучков и забыть. Во-первых, такие вещи не «забываются» и на протяжении многих лет. Во-вторых, память у А. И. Гучкова хорошая. В-третьих, можно с уверенностью сказать, что у него имеется подробная уже запись о событиях описываемого времени.

К сожалению, руководитель «заговора» в общем довольно скуп и лапидарен в рассказе. Не останавливается на деталях. Слова Терещенко мне он объяснил политическими соображениями — желанием реабилитировать «демократичность» Крымова в корниловские дни. Такое объяснение представляется как-то невероятным. Неизбежно я должен перейти к собственным предположениям.

Возможно, что сам Гучков, более осторожный, чем его молодые соратники, и не посвящал Крымова в технический

план действия на территории бывших аракчеевских поместий. Полная дискретность в технике — гарантия успеха дела. Это и позволяет говорить Гучкову, что Крымов не участвовал в заговоре. Другие члены «тройки» не были так дискретны. По мере развития «заговора», очевидно, дело выходило за пределы узкого интимного обсуждения. Не было ли здесь какого-то комитета «семи», о котором намекал В. И. Гурко и к которому с большой иронией отнесся Милюков? Какие-то совещания о «заговоре» происходили в разных местах. Один очень известный общественный деятель рассказывает, что ему надо было видеть Гучкова и он пошел в Военно-промышленный комитет. Там встретил его Терещенко словами, что Александра Ивановича видеть сейчас нельзя, так как он занят на совещании о «заговоре». Молодые, наивные конспираторы легко разглашали «тайну». Бьюкенен передает, что в начале января «один мой русский приятель, который стал потом членом Временного правительства, сообщил мне через полк Тарнгидля, нашего помощника военного атташе, что революция произойдет перед Пасхой, но что мне нечего беспокоиться, так как она продолжится всего лишь две недели». «У меня есть данные верить, — добавляет английский дипломат, — что это известие было основано на фактах».

Возможно и другое объяснение утверждению А. И. Гучкова. Некрасов и Терещенко участвовали, как мы увидим, и в других заговорщицких комбинациях. Не все открывалось Гучкову. И, может быть, действительно, он работал над осуществлением своего плана в узком кругу причастных к этому плану военных. В этой узкой концепции Крымов мог и не принимать никакого участия. Но Крымов приезжал в Петроград, Крымов убеждал колеблющихся, Крымов о перевороте делал доклад у Родзянко. Гучков ничего не знает о совещании у Родзянко. Вот что рассказывает

об этом сам Родзянко в напечатанных в «Архиве русской революции» воспоминаниях.

«В начале января, — вспоминает Родзянко, — приехал с фронта ген. Крымов и просил дать ему возможность неофициальным образом осветить членам Думы катастрофическое положение армии и ее настроения. У меня собрались *многие* из депутатов, членов Государственной думы и членов Особого совещания. С волнением слушали доклад боевого генерала. Грустной и жуткой была его исповедь. Крымов говорил, что пока не прояснится и не очистится политический горизонт... пока не будет правительства, которому бы там, в армии, поверили, — не может быть надежды на победу... Настроение армии такое, что все с радостью будут приветствовать известие о перевороте. Переворот неизбежен, и на фронте это чувствуют. «Если вы решитесь на эту крайнюю меру, то мы вас поддержим. Очевидно, других средств нет... Времени терять нельзя...» Крымов замолк, и несколько секунд все сидели смущенные и удрученные. Первым прервал молчание Шингарев: «Генерал прав: переворот необходим... Но кто на него решится?»

Шидловский с озлоблением сказал: «Щадить его нечего, когда он губит Россию». Многие из членов Думы соглашались с Шингаревым и Шидловским; поднялись шумные споры. Тут же были приведены слова Брусилова: «Если придется выбирать между царем и Россией — я пойду с Россией».

Самым неумолимым и резким был Терещенко, глубоко меня взволновавший. Я его оборвал и сказал: «Вы не учитываете, что будет после отреченья царя... Я никогда не пойду на переворот. Я присягал... Прошу вас в моем доме этого не говорить. Если армия может добиться отречения — пусть она это делает через своих начальников, я до последней минуты буду действовать убеждением, а не насилием». Много и долго еще говорили у меня в этот вечер.

Не подлежит сомнению, что Крымов был непосредственно замешан в организации переворота. Он был будирующим и организующим началом на фронте и, очевидно, связь его с Терещенко установилась еще тогда, когда Терещенко вместе с Маклаковым и Родзянко ездил на фронт к Брусилову (июль 1916 г.). Последующая заговорщицкая деятельность Крымова, его решительность в первые дни революции, как бы указывают на то, что этот энергичный человек, сочувствовавший перевороту, едва ли мог ограничиться пассивной ролью — быть осведомленным о подготовке заговора. Половцев рассказывает, что приехавший в марте 1917 г. Крымов набросился на него со свойственным ему ругательным красноречием: «Как тебе не стыдно, вы все тут мямли, нюни распустили».

3. Вокруг армии

Переворот нашел бы себе поддержку в армии — в этом уверены были и Гучков и Крымов.

Гвардия в Петрограде определенно ненадежна. Оппозиционные гвардейские офицеры собираются для обсуждения текущего политического момента не только в салонах гр. Шереметьевой, не только в интимных кружках. Департамент полиции отмечает в одной из гвардейских частей собрания офицеров вместе с солдатами. Этой частью, очевидно, были запасные части Преображенского или Павловского полков. По свидетельству И. С. Лукаша, они потому легко откликнулись в февральские дни на революцию, что были уже подготовлены к возможности «переворота». С самого начала уличных выступлений в казармах этих полков зрело решение вооруженного давления на власть. Лукаш не рассказывает тех подробностей, которые можно найти в статье Кричевского в с.-д. «Мысли». План восстания, разработанный офицерами Преображенского полка, был якобы закреплен в штабе полка уже в ночь с 26 на 27 февраля. Полк должен был выступить

на Дворцовую площадь перед Зимним дворцом и соединиться с Литовским и Семеновским полками. Затем арестовать правительство в Мариинском дворце. Гвардия отдавала себя в распоряжение Государственной думы и, опираясь на поддержку командующих фронтами, с оружием в руках добивалась осуществления «главного пункта прогрессивного блока — министерства общественного доверия», причем имелось в виду отречение Николая II.

Возможно, что мы встречаемся тут только с творимой легендой, создавшейся в дни революции. Очень уж восторженно написана брошюра Лукаша от имени Временного комитета Государственной думы. Это — агитация, но она опиралась на факты из подлинной жизни, поскольку речь шла о настроениях, а не о планомерной организации. Ненадежны становятся и водный батальон, и стрелки императорской фамилии в Царском Селе. Контр-адмирал Смирнов, попав в начале февраля в Петроград и Могилев, был «поражен ростом оппозиционного настроения по отношению к правительству как среди петроградского общества, так и среди гвардейских офицеров и даже в Ставке».

С конца декабря в Ставку проникали уже определенные слухи о дворцовом перевороте. Говорили об участии великих князей и видных военных. И «к возможности переворота» — слышим мы авторитетный голос В. М. Пронина — «относились спокойно, считая, что государственный порядок того времени приведет к проигрышу войны. Государь уже не пользовался в глазах офицерства и солдат тем авторитетом «священной особы», каким пользовался раньше». «Престиж царской власти никогда не падал так низко», — записывает Ренгартен 14 января. «Сейчас у меня был один офицер с фронта, — пишет Родзянко Юсуповой 12 февраля, — и рассказывает, что настроение в войсках теперь возбужденное против их обоих, как никогда». В штабе румынского фронта

говорили о низложении царя и заточении царицы «даже за генеральскими столами», — утверждает проф. Ломоносов. Протопопов предупреждал царя, что значительное число лиц из высшего командного состава сочувствует перевороту.

Нужны ли еще выписки, свидетельства и показания?

По словам Гучкова, Рузский будто бы ему говорил, что если бы к нему обратились, он поддержал бы заговор. Не есть ли это тоже легенда революционного происхождения? Но заговорщицкий пыл не мог не отразиться на фронте в попытках создать свой собственный план «дворцового переворота». Я знаю об одной такой попытке — по-видимому, довольно изолированной, которая разрабатывалась в период, когда мне, в качестве журналиста, в декабре-январе 1917 г. пришлось быть на западном фронте и знакомиться с фронтовыми учреждениями Земского союза. К ней причастен был гр. П. М. Толстой. Происходили совещания и обсуждался проект увоза царя на аэроплане в лес, предъявление требования удалить царицу, а может быть, отречения в пользу сына с регентством Михаила Алекс. Керенский говорит о проекте бомбардировать с аэроплана царский автомобиль при проезде его на одном из участков фронта.

Многие в дни революции, как отмечал мой корреспондент, которого я цитировал в предисловии, склонны были нарядиться в заговорщицкую тогу в предреволюционное время. На этом пытались делать политические карьеры. Люди спасали Россию! К таким спасителям приходится отнести небезызвестного Завойко, авантюристическая фигура которого окончательно разоблачилась в период гражданской войны. Завойко любит рассказывать, как он участвовал в «тучковском заговоре». А. И. Гучков решительно это опровергает.

К показаниям Завойко, несмотря на весь его «заговорщицкий» стаж, не может быть доверия. Однако та или иная причастность его к заговору возможна, если принять во

внимание, что Завойко являлся как бы представителем Путилова в Военно-промышленном комитете, а Путилов был, как мы видели, непосредственно замешан в разговорах о «заговорах».

Из слов Завойко вытекает, что в заговоре участвовал и Куропаткин и что он, Завойко, был послан в Туркестан с письмом от Гучкова (последним это отрицается). Завойко просто был выслан в Туркестан Департаментом полиции — за «разговоры» о перевороте. Имел ли он в действительности сношения с Куропаткиным, мы, конечно, не знаем. В отдаленном Туркестане Куропаткин мог быть только в среде сочувствующих. В Туркестан он был назначен 22 июня 1916 г. На него могли рассчитывать в момент командования гренадерским корпусом, по тогда все заговоры были еще в эмбриональном состоянии. Куропаткин сочувствовал изменению строя и имел личную неприязнь к царю[89]. Таким образом, он мог быть подходящим кандидатом у заговорщиков при подыскании авторитетных военных. При известии о революции он занес в дневник: «Чувствую себя помолодевшим и, ловя себя на радостном настроении, несколько смущаюсь: точно и неприлично генерал-адъютанту радоваться революционному движению и перевороту. Но так плохо жилось всему русскому народу: до такой разрухи дошли правительственные слои, так стал непонятен и ненавистен государь, что взрыв стал

---

[89]«Неприязнь» отчасти, по-видимому, основывалась на том, что Куропаткин желал «реабилитации» и оставался «на покое» в первый период войны. И вновь как будто бы царь здесь был ни при чем. Сухомлинов говорит, что он докладывал царю о желании Куропаткина. Последний ответил: «Я ничего против этого не имею, но вел. кн. Николай Николаевич и слышать об этом не желает. Поезжайте в Ставку и попробуйте об этом переговорить с верховным главнокомандующим». Куропаткин получил назначение в действующую армию только после ухода Николая Николаевича.

неизбежен. Ликую потому, что без переворота являлась большая опасность, что мы были бы разбиты и тогда страшная резня внутри страны стала бы неизбежна»[90].

Сочувствие перевороту, конечно, не означает еще непременного участия в нем. Реальных данных, указывающих на такое участие, пока у нас нет.

4. Морской план

Я должен коснуться еще одной комбинации, попутно уже затронутой нами. Контуры ее не вполне ясны. Я говорю про тот «морской план», о котором упоминает Шульгин. Наличность организации в морской среде в целях совершить «дворцовый переворот» или ему содействовать, не подлежит сомнению. Молва среди флотских офицеров упорно связывала ее с замыслами А. И. Гучкова. Сам Гучков отрицает свою непосредственную связь с моряками. Приходится думать, что и «морской план» был не один. Скорее существовало несколько отдельных кружков, пожалуй, между собою не связанных, от которых шли нити к разным кругам общественности — от великокняжеской среды до кругов думских и земских. «Заговор» зрел в морском генеральном штабе. Одним из его организаторов называли капитана 1 ранга, помощника начальника штаба гр. Капниста (брат члена Государственной думы) — имя Капниста, вспомним, упоминалось среди присутствовавших на обеде у Богданова, где вопрос о перевороте был поставлен ребром.

Моряки в Ставке могли опираться на ту часть «гвардейского экипажа», которая была направлена туда для несения императорской охраны и политическое настроение которой

[90] Стоустая молва еще во время русско-японской войны приписывала «бездействие» Куропаткина желанию дождаться падения монархии (запись Тихомирова).

было повышено. Надо иметь в виду, что среди моряков в Ставке вызвала большое неудовольствие история с несостоявшейся кандидатурой Григоровича на пост председателя Совета министров. В этом факте как бы проявлялась ярко неустойчивость и безволие носителя верховной власти. Григорович в своих неизданных воспоминаниях рассказывает, что был вызван в Ставку по инициативе царя. Последний при свидании не только ему ничего не сказал о предполагаемом назначении, но поразил неожиданным вопросом: у вас имеются доклады? Как будто бы царь сам и не вызывал морского министра...

Душою «заговора»,с другой стороны, называют бывшего редактора «Морского сборника» Житкова. В его участии сомневаться не приходится. Редакция «Морского сборника» становилась центром оппозиции — там еще в ноябре размножались и раздавались копии запрещенных думских речей. 27 февраля Ренгартен записывает: «Мы считаем, что Житков может вполне справедливо нас ругать за то, что мы отнеслись вяло, неэнергично к принципиальной стороне вопроса, поднятого им. Если бы мы были не согласны с его планом, то мы должны были не только его отвергнуть, но и предложить свой, который и проводить затем в жизнь».

По одной записи Ренгартена, касающейся беседы его с командующим балтийским флотом Непениным, можно заключить, что и Непенин имел какое-то отношение к намечавшемуся перевороту. Запись относится к 30 января 1917 г. Разговор шел по поводу полученных «документов», о письме Гучкова к Алексееву, в котором говорилось, что если кто-нибудь что-нибудь и может сейчас сделать, то это вы (ген. Алексеев), о ноябрьских речах, обвинявших Александру Федоровну в «шпионаже», о совещании Протопопова с членами Думы и т. д. Ренгартен указал Непенину, что он принадлежит к числу тех старших начальников, которые могли бы указать

монарху на опасность положения («случись что, не трудно предсказать, на чьей стороне флот»), «Адмирал ходил по каюте взад и вперед, видимо, задетый последними моими словами», — записывает Ренгартен. «Подумав, он отвечал, что прямой, открытый путь — невозможен (в силу подозрительности царя)... и понять трудно... ведь известно же точно, что не было, чтобы монарх, проигравший большую национальную войну — оставался на троне.... В заключение адмирал сказал мне: «Думано об этом, много думано, много ночей...» Далее он сказал что-то непонятное и отрывочное, что набирает к себе людей, которым верит, что-то о кораблях, на которые можно рассчитывать... Я ничего не понял: это были отрывки мыслей, произнесенных вслух». Так как Ренгартен, связанный дружественными узами с Житковым, был до некоторой степени посвящен в секретные «планы», можно думать, что он как бы испытывал Непенина. Очевидно, последний свои организационные шаги предпринимал или за свой страх, или по связи с одним из описанных выше начинаний. «Чудной» Непенин отличался большим реализмом и, по мнению его знавших, едва ли принял бы участие в несерьезном деле.

Испытывая Непенина, кружок Ренгартена все чаще задумывался о необходимости действовать, так как «мы верно, ускоренным движением приближаемся к великим потрясениям». 27 февраля происходит совещание или «беседа», как называет его автор дневника, между друзьями (Черкасский, Довконт, Ренгартен). «События, — записывает Ренгартен, — приняли грозный оборот; обстоятельства не допускают промедления. Момент уже пропущен. Нужны немедленные поступки и решения. Дума и все общественные деятели вялы и мягкотелы. Надо дать им импульс извне, для этого надо иметь определенный план». Программа действий такова: «Активную роль должны на себя взять все-таки ответственные политическое деятели, надо только натолкнуть их на это.

Решено вызвать Константина Георгиевича (т. е. Житкова). Он должен посетить одного-двух общественных деятелей и предложить им устроить частное совещание, на котором он и доложит настроение некоторых кругов флота. На совещании должны быть выбраны пользующиеся авторитетом лица, которые должны посетить высших военных начальников на фронте и обеспечить спокойствие там во время их дальнейших действий в тылу... Тогда Государственный совет и Государственная дума должны составить законодательный корпус и избрать председателей ответственной перед ними исполнительной власти... Происшедшее должно быть доведено до сведения полковника...»

«План действий» опоздал. События пошли неожиданно скоро, «Беседа пятая», 28 февраля, заполнена обсуждением других волнующих вопросов:

Кн. Черкасский: — Что будешь делать, Федя, если начнется на судах?

Довконт: — Буду поддерживать существующий ныне режим.

Черкасский: — Т. е. пойдешь и примкнешь к бунтовщикам? Это неправильно... Идти в толпу легко, но погибнуть там от шальной пули типа «соблюдающего присягу» довольно непроизводительно. Надо иметь более продуманный план.

Ренгартен: — Мы должны быть готовы ко всему: Ставка, царь, могут приказать флоту поддерживать старый порядок... Наш адмирал станет тогда перед дилеммой, и мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы решение адмирала шло бы к спасению России, хотя бы и наперекор приказанию сверху...

Постановили так: «По очереди идти к командующему и открыто и решительно высказать свой взгляд на вещи, указав на полную невозможность выполнить такое его приказание, которое пошло бы вразрез с нашими убеждениями.

Решено переговорить со Щастным и постараться привлечь его на нашу сторону. В случае неудачи, принять все меры к привлечению Кедрова».

Однако мы заглянули уже вперед и подошли к февральским дням. Вышеизложенное — это как будто все, что можно при теперешнем состоянии материалов сказать о «морском плане». Интересная страница в истории флота, которую следовало бы развернуть тем, кто может. Активно действовавшие лица, к сожалению, по-видимому, все погибли.

***

Еще дополнительный штрих для того, чтобы зарегистрировать один из ходивших слухов. В 1924 году в «Сегодня» был напечатан очерк С. Р. Минцлова «Интимные рассказы Николая Николаевича» в период вынужденного пребывания в 1918 г. в Дюльбере. Записи Минцлова почти всегда имеют ту отрицательную черту, что между политическим фольклором, дошедшим до автора через третьи руки, и действительностью не проводится грани. И в этих записях не знаешь, что является рассказом вел. князя, что является изменениями передатчиков и, наконец, что принадлежит автору. По-видимому, последнему принадлежит заключение в «Интимных рассказах Николая Николаевича». Он говорил, что участниками дворцового переворота были Колчак, Алексеев, Брусилов, Рузский и многие другие генералы. Очагом заговора был де дворец графини Брасовой. Переворот решено было устроить 15 января, и дело было отложено только в силу разногласия между главными участниками. Заговорщики летом 1916 г. устроили перетасовку в армии и перевели в более или менее отдаленные места тех лиц, которые могли бы не согласиться на производство переворота. Фантазия здесь очевидна, и едва ли она может быть приписана великому князю Николаю Николаевичу.

Принимал ли, однако, какое-либо участие вице-адмирал Колчак, командующий Черноморским флотом? Прогрессивный человек, с хорошим общественным прошлым, отрицательно относившийся к правительственному режиму, казалось бы, легко мог быть привлечен к делу «спасения России». Если Колчак был в курсе, почему он промолчал об этом в своих иркутских показаниях, так подробно останавливаясь на предреволюционном времени и на своем отношении к Временному правительству?

Вопрос о Колчаке не совсем праздный. А. П. Лукин сообщил мне о таком факте. Беру выдержку из его письма: «...Когда в 1917 г. дошли до Севастополя первые зарницы революции, герцог С. Г. Лейхтенбергский (пасынок в. кн. Николая Николаевича) был экстренно командирован в Батум на специальном миноносце для свидания с Николаем Николаевичем. Эта миссия была секретная и настолько срочная, что командиру миноносца дано было предписание «сжечь котлы, но полным ходом доставить герцога к отходу батумского поезда». Тогда ходили слухи, что в контакте с Балтийским флотом и некоторыми войсковыми частями Черноморской флот должен был перейти в Батум и там, и по всему побережью, произвести демонстрации в пользу Николая Николаевича и доставить его через Одессу на румынской фронт и объявить императором, а герцога Лейхтенбергского — наследником. Такие слухи циркулировали во флоте в эпоху, когда Петроград был отрезан и еще было не известно, чем все это кончится»[91].

---

[91] Тогда в. кн. Мария Павловна писала секретно своему сыну Борису: «...Мы, естественно, должны надеяться, что Н. Н. возьмет все в свои руки, так как после Миши все испорчено, наша вся надежда за возможное будущее остается с ним». Везший это письмо ген. Чебыкин был арестован в Кисловодске.

Это проектируемое выступление очень напоминает запоздавший план Ренгартена и его друзей. Оно представляется вероятным, являясь отзвуком тех планов «дворцового переворота», которые подготавливались в разных кругах и в разных комбинациях. Ответа на вопрос об участии Колчака мы все же не находим. 25 февраля Колчак был приглашен великим князем в Батум для обмена мнениями по поводу подготовлявшихся совместных действий армии и флота на Малоазийском побережье. Колчака сопровождал М. И. Смирнов, рассказывающий, что здесь Колчак лично получил от Капниста шифрованную телеграмму из Петрограда: «В Петрограде произошли крупные беспорядки, город в руках мятежников, гарнизон перешел на их сторону». У вел. князя никаких известий не было. Мы не знаем, что происходило глаз на глаз между вел. князем и А. В. Колчаком. Только впоследствии Николай Николаевич говорил Андрею Владимировичу, что о событиях, случившихся в Петрограде, он узнал 1 марта, переговаривался по этому поводу с Колчаком. Про последнего вел. кн. сказал: «Он прямо невозможен».

Глава VII. «Выборы» Временного правительства

1. Предусмотрительные люди

Я отметил как будто бы все предположения, касавшиеся дворцового переворота, — конечно, постольку поскольку они приобретали видимые, реальные очертания. Около этих разговоров — и сравнительно в малой степени действий — шли уже те безответственные пересуды, которые могут только характеризовать сложившуюся общественную атмосферу.

Откровенно говоря, поражаешься той легкости, с которой подходили тогда к надвигающейся грозе. Господствовало убеждение, что кто-то скоро совершит переворот, а кто — этим как-то не интересовались. Милюков вспоминал в статье «Первый день» («Последние новости», 1927 г), что месяца за два до революции в кругу политических друзей, в Москве, его спросили: «Отчего Дума не возьмет в свои руки власть?». Милюков ответил: «Приведите к Таврическому дворцу два полка солдат, мы тогда потолкуем». «Искушенный политик» приводит этот ответ в доказательство своей предусмотрительности: и тогда уже он предвидел, что революция примет «форму солдатского бунта». И автору воспоминаний, по-видимому, не кажется странным, что он дал такой упрощенный ответ своим политическим единомышленникам и что этот ответ шел вразрез с тактикой, которую пытался проводить лидер прогрессивного блока.

В другой более ранней статье, «Как пришла революция» («Последние новости», 1921 г.), тот же Милюков, подводя итоги заговорщической предреволюционной деятельности, писал: «Собственно, нужно говорить не об одном, а о нескольких кружках, связанных друг с другом в лице отдельных

членов. Один кружок затевал военный дворцовый переворот, о котором рассказал М. И. Терещенко... Другой лелеял республиканскую идею (кого имеет в виду Милюков?). Третий, менее конспиративный и менее посвященный, обсуждал вопросы о роли Государственной думы, *в случае*, если переворот совершится; о регентстве в. кн. Михаила Александровича и т. п.» Обсуждали на всякий случай, так как, по признанию Милюкова-историка, «не было серьезности... во всех разговорах о готовящемся перевороте сверху» («Россия на переломе»).

В декабре Милюков имел беседу с Хатисовым, «облеченным миссией переговорить с Николаем Николаевичем», так как из Москвы Хатисов поехал не прямо на Кавказ, а с заездом в Петроград. Здесь Хатисов встретился с двумя противоположными мнениями среди политических деятелей левого общественного лагеря: Милюков якобы «выражал уверенность в неизбежности и близости революции»; Чхеидзе казалось, что «о революции в ближайшем будущем не может быть и речи». Возможно, что это впечатление и было правильно: Чхеидзе под революцией подразумевал массовое выступление рабочих; Милюков же, по утверждению Набокова, революцию, как и многие другие, представлял себе скорее чем-то «вроде наших дворцовых переворотов XVIII века и не отдавал себе отчета в глубине будущих потрясений». В каких пределах Хатисов открыл Милюкову свою «тайну», мы в точности не знаем. Ясно, однако, что дворцовый переворот, о котором говорил Хатисов, надо было отнести к попыткам устранить опасность «по-византийски, а нс европейски» (слова Милюкова по поводу убийства Распутина). Такому методу надо было или содействовать, или противодействовать. Межеумочное состояние для ответственного политика было невозможно. Милюков предпочел быть в том «кружке», который обсуждал, что делать, если...

Против дворцового заговора в кадетской среде определенно раздался голос только кн. П. Д. Долгорукова. В январе информаторы Охранного отделения сообщают о записке кн. Павла Долгорукова, имеющей целью «уяснить взгляд кадетов на переживаемый политической момент». Она заключала следующие тезисы: 1. России необходимо ответственное министерство. 2. Происшедшие в составе правительства перемены показывают, что убийство Распутина имело скорее отрицательное влияние, и замысел убийц очистить царскую семью от приставшей к ней грязи — не увенчался никакими положительными результатами. 3. Страна вернулась в исходное положение и «накануне новой операции» в борьбе за ответственное министерство. 4. Основной вопрос лишь в том, дарует ли государь его добровольно или нет. 5. Если государь не вступит на путь создания ответственного министерства, то перед нами, судя по последним настроениям семьи Романовых, встает грозная опасность дворцового переворота. 6. Между тем дворцовый переворот не только не желателен, а скорее *гибелен* для России, так как среди дома Романовых нет ни одного, кто мог бы заменить Государя... А раз это так, то дворцовый переворот не только не внесет умиротворения, а, наоборот, заставит нас, убежденных конституционных монархистов, встать на сторону республиканского строя.

Какой рецепт имел лидер партии и прогрессивного блока? Формально он продолжал отстаивать легальные методы борьбы, т. е. давление на власть через парламент. В течение праздничной недели, с 24 декабря по 3 января, в Москве происходят частные совещания на квартирах Коновалова и Рябушинского. Наши информаторы сообщают, что Н. В. Тесленко в очень страстной речи определил переживаемый момент, как момент «накануне открытого конфликта». Оратор указывал, что «оппозиция, как в Государственной думе и Государственном совете, так и в общественных орга-

низациях, исчерпала все средства лояльного воздействия на власть, ведущую страну к военному разгрому. В настоящее время, по мнению Тесленко, наступил момент активного выступления «против Петрограда и Царского Села». Резолюция Совещания предусматривала неизбежность конфликта правительства с Государственной думой и роспуск последней. Тогда объединенное большинство Думы (т. е. прогрессивный блок) должно *объявить* роспуск недействительным, и заседания Государственной думы — сообщает информация — продолжатся в Москве в частном помещении одного из крупных московских коммерсантов. Собравшаяся в Москве Государственная дума обратится к стране с воззванием, в котором укажет, что правительство умышленно ведет Россию к поражению, дабы заключить союз с Германией и при ее помощи водворить в стране реакцию и окончательно аннулировать акт 17 октября. Организацию распространения воззвания в действующей армии — отмечает записка — примет на себя Гучков при содействии известных ему офицеров запаса.

Вопросы, поднятые в Москве, обсуждались затем в бюро прогрессивного блока. И оказалось, что нет единства взгляда, нет единой тактики — так, толчея в ступе. Ее прекрасно изобразил в «Днях» Шульгин. Он вспоминает об одном из многочисленных совещаний того времени — тягучих и неопределенных. «Тут были все члены бюро прогрессивного блока, видные члены Думы — Милюков, Шингарев, Ефремов, Львов, Шидловский, Некрасов. Был Гучков. Кажется, кн. Львов и деятели Земгора. Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Говорили о том. что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же... Необходимо иметь смелость... чтобы принять большие решения... серьезные шаги. Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать...» Да, блок не был «гражданской цитаделью». Определеннее был даже Родзянко, созвавший в январе секретное совещание

предводителей дворянства, которые должны были, по его мысли, стать во главе движения в случае роспуска Думы. По мнению большевистских историков, Родзянко готовил «дворянскую диктатуру».

2. Политическая лаборатория

Но кто-то все-таки мог неожиданно совершить переворот. Предусмотрительные люди на всякий случай считали нужным сговориться, как действовать после переворота. В показаниях П. Н. Милюкова перед Следственной комиссией Временного правительства этот сговор между представителями земского и городского союзов, Военно-промышленного комитета и блока приобретал характер строго продуманной системы. В этих предварительных переговорах — утверждал Милюков — и «*было намечено то правительство, которое явилось в результате переворота 27 февраля*».

Предусмотрительные люди позаботились о том, чтобы в случае какого-нибудь крушения «страна немедленно получила власть». Утверждение это стало почти общим местом — еще последний председатель Совета министров, кн. Голицын, незадолго до революции высказывал уверенность, что у «союзов готов состав временного правительства». Оно повторяется и в послереволюционной литературе. Утверждала это не раз Е. Д. Кускова. Безусловно верит этой версии Алданов, делая маленькую оговорку: «Список будущих министров почти целиком совпадал с первым составом Временного правительства». Алданов (в статье «Третье марта») сообщает даже историческое место, где был составлен этот список. К сожалению, он только не указывает точно даты. Он пишет: «В неясном предвидении неясных событий оно (правительство) было составлено на заседании у кн. Львова, в кабинете гостиницы «Франция». Вспоминая слова Шульгина, обращенный к Милюкову, в первый день революции: «Надо правительство

и надо, чтобы вы его составили», Алданов недоумевает: «Неужели Шульгин не знал, что правительство, собственно, было составлено еще в 1916 году».

То, что Шульгин знал, он рассказал в «Днях». Оказывается, что с самого основания блока Шульгин добивался «ясной практической программы». Ему отвечали: «Добиться власти, облеченной народным доверием». «Тогда, — рассказывает Шульгин, — я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги... что это надо решить тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную». 26 февраля Шульгину показалось, что вопрос уже стал вплотную: «Если с нами наконец согласятся и скажут: «Давайте ваших людей». Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделываясь общей формулой, — «людей, доверием общества облеченных». (Напомню, что в это именно время Маклаков вел переговоры с Покровским и Риттихом, и что вопрос поднимал Шульгин в бюро блока.) «Последовала пауза... никто меня не поддержал и списка не составили...»

Как совместить столь противоречивые показания? Почему скрывали от Шульгина «список», когда революция уже наступила? Не слишком ли много экспрессионизма у темпераментного мемуариста?

На мой запрос, когда же и при каких условиях было выбрано Временное правительство, Е. Д. Кускова ответила. Буду цитировать ее слова:

«6 апреля 1916 года (кажется так) должен был состояться в Петербурге съезд кадетской партии. А 5-го позвонил ко мне рано утром Х.[92] Он просил позволения немедленно приехать к нам. Это было часов в 8 утра. Приехал и заявил: «Необходимо немедленно

---

[92] Пропускаю некоторые имена по просьбе автора письма.

созвать собранье из *всех* партий (курсив мой) и наметить Временное правительство. Я отвезу эти имена на съезд, и мы там, в секретных заседаниях, подвергнем их обсуждению». Сначала мы засмеялись, думали, что он шутит, и ответили ему: «Дорогой Х! Сегодня ведь 5-ое, а не первое апреля». Он на нас прикрикнул и рассердился: «События подвигаются с быстротой необычайной, а вы...» Ну, что же, почему не собрать лишнее собранье? К 2-м часам дня я его по телефону собрала.

Из эсдеков были... Из кадетов Кокошкин... Были кооператоры. В это время в Москве, проездом с юга, из Дебальцева, был Л. И. Лутугин. К моему глубокому изумлению, после краткого доклада Х., публика нисколько не удивилась тому занятно, к которому он ее приглашал. И с самым серьезным видом занялись намечанием имен: Председателем Совета министров наметили кн. Львова, министром иностранных дел Милюкова, военным — Гучкова. Некоторые настаивали на мин. ин. дел в лице кн. Гр. Трубецкого. Юстиции — Маклакова или Набокова, земледелия — Шингарева, просвещения — Герасимова или Мануйлова, торговли и промышленности — не помню. Что-то помнится — не то Коновалов, не то Третьяков. Одним словом, кто-то из лиц, связанных с Военно-промышленным комитетом.

Долго завязли на министре внутренних дел и решили, что это место займет кто-нибудь из земцев, ибо в его распоряжение в первое время поступил бы весь наличный земский аппарат. Так шло обсуждение по линии: кадеты и октябристы. Левые энергично называли имена, как будто это дело их касалось сбоку: никто из присутствующих не предполагал, что левые могут занять министерские посты. Затем спохватился С. Н. (Прокопович): а где же министр труда? В это время шли ведь по всей России стачки рабочих. Да и новое министерство труда было в новой России, конечно, необходимо. После краткого обсуждения решили, что этот пост не может занимать ни кадет, ни тем более октябрист. Его должен занять левый. Единогласно «избрали» беспартийного Лутугина, и он это «избрание» на квартире г-жи Кусковой принял...

Этим делом и кончилось. Приехавший со съезда сообщил нам, что и там были намечены те же имена. Вариация была лишь в том,

что на каждый пост намечали не одно, а два, иногда три имени: в зависимости от обстоятельств. Забыла еще упомянуть, что на пост Государственного Секретаря был намечен нами и Петербургом — Кокошкин. О Керенском тогда никто и не вспомнил; повторяю, вращались в пределах кадетов и октябристов. Это было продолжение борьбы думской оппозиции за министерство «общественных деятелей». Предполагалось, конечно, что и это *министерство будет намечено революционным путем.* Но воображение не шло все-таки дальше кадетов и октябристов».

Рассказ Е. Д. Кусковой на первый взгляд врывается большим диссонансом в наше изложение. Временное правительство, создаваемое *революционным* путем, намечалось как будто бы еще весной 1916 г.! Совершенно невероятно, поскольку речь идет об участии в совещании представителей партии народной свободы и притом на совещании, созванном как бы по инициативе самих кадетов. Я не буду анализировать изложение моей корреспондентки — в нем много неточностей, начиная с того, что партийного кадетского съезда в апреле не было, но это имеет второстепенное значение... Совершенно очевидно, что на случайном собрании у Е. Д. Кусковой обсуждался лишь возможный состав будущего ответственного министерства и, надо думать, что собрание происходило в срок, значительно более ранний, чем это представляется Кусковой. Думаю, что и революционное происхождение правительства явилось результатом позднейшей наслойки в памяти мемуаристки.

В 1916 г. для составления подобного списка будущих министров не требовалось большого напряжения мысли, так как он ходил (с некоторыми вариациями) по рукам. Московское «Утро России» (газета Рябушинского) 13 августа 1915 г. даже опубликовало один из таких списков под заголовком «Кабинет обороны». Это было время, когда, по выражению гр. Игнатьева, началась «политическая жизнь» страны. Этот

список совпадал в части и со списком, выработанным на квартире Кусковой, и с составом будущего правительства. Это был кабинет «думской оппозиции», составленный из общественной и либеральной бюрократии. Премьер-министром намечался Родзянко; мин. вн. дел — Гучков; ин. дел — Милюков; финансов — Шингарев; путей сообщения — Некрасов; торговли и промышленности — Коновалов; земледелия — Кривошеин; военный — Поливанов; морской — Савич; госуд. контролер — Ефремов; обер-прокурор синода — Львов (В. Н); юстиции — Маклаков; просвещения — Игнатьев. Состав «министерства доверия» обсуждался в разные времена и в разных местах. Левые общественные круги — за исключением, быть может, тех немногих представителей революционной общественности, которые посещали интимные совещания на квартире Прокоповичей — были чужды лабораторной работе по выработке министерских списков. Главной лабораторией была кадетская среда, более тесно связанная с земским, городским и торгово-промышленным кругами, Н. И. Астров, в свою очередь, вспоминает, как собравшиеся на квартире кн. Долгорукова, с карандашом в руках, назначали «министерство доверия».

И не только в квартире Долгорукова, не только в бюро партии к-д. в Чернышевском пер., не только в Союзе городов, но и «во всех центрах партийных и общественных» — отвечает Н. И. Астров на мой запрос — дебатировался вопрос о составе «правительства общественного доверия: «не то чтобы составлялись списки будущего правительства, но неоднократно перебирались имена, назывались разные комбинации имен. Словом, тут работала общественная мысль; в результате этой работы слагалось общественное мнение.

Получилось любопытное явление. Повсюду назывались одни и те же имена. Оказалось нечто вроде референдума. Некоторые имена отпадали после обсуждения; другие просто

не удерживались; некоторые из названных сами снимали себя, считая более полезным оставаться у своего дела в своем городе».

Список не был устойчивым и твердым — он зависел от конъюнктуры дня. Первоначально, когда создавался прогрессивный блок, господствовала умеренность. Тогда «кабинет обороны» предполагалось возглавить Гучковым. Кандидатура потом отпала[93], может быть потому, что более реальной представлялась кандидатура либерального бюрократа Кривошеина; может быть, в силу сознания неприемлемости Гучкова на верхах. Отрицательное отношение наблюдалось к Гучкову и в среде городских деятелей — оно проявилось в забаллотировании Гучкова в состав депутации к царю на сентябрьском съезде Союза городов. Полицейские информаторы сообщают мотивы, выставленные в речи уполномоченного Безчинского: «Среди кандидатов в нашу депутацию указано на человека, который едва ли может быть назван лицом, пользующимся общественным доверием. Мы помним его деятельность и его выступления в III Государственной думе, где он определенно высказывался за недопущение депутатов левых фракций Думы в комиссии государственной обороны. Этот человек еще недавно в одной из своих речей перечислил авторов печальной памяти закона 3 июня 1907 г., но к именам этих авторов этот человек забыл прибавить свое собственное имя, так как всем известно, что закон 3 июня издан при его несомненном влиянии и соучастии». Речь Безчинского — добавляет информатор — была покрыта дружными рукоплесканиями всего собрания, и на место Гучкова в депутацию был избран Астров.

---

[93] Судя по показаниям генерала Иванова в Следственной комиссии Временного правительства, в военных кругах эта кандидатура обсуждалась и позже.

На пост премьера была выдвинута затем кандидатура Родзянко, к которой с некоторой опаской относились лидеры блока, боясь авторитарных наклонностей председателя Думы. О Львове еще не говорили, или говорили очень мало, хотя влияние его уже заметно росло. В этом отношении пока-показательна запись Яхонтова, которой он начинает рассказ о заседании Совета министров 2 сентября: «А. М. Кривошеин и другие поднимают общий вопрос о самоупразднении правительства со времени Особого совещания по обороне, всюду выдвигающего общественные организации; везде выступают общественные и иные деятели и Земский союз во главе с кн. Львовым. Сей князь фактически чуть ли не председателем какого-то особого правительства делается, на фронте только о нем и говорят, он спаситель положения, он снабжает армии, кормит голодных, лечит больных, устраивает парикмахерские для солдат, словом — является каким-то вездесущим Мюр и Мерелизом... Вся его работа вне контроля, хотя ему сыплются сотни миллионов казенных денег, — надо с этим покончить или отдать ему в руки всю власть».

При раздраженном состоянии, в котором находились министры в августе-сентябре 1915 г. (министры либеральные, министры, навязанные общественностью, как считала Александра Федоровна), Совет министров склонен был доверять преувеличенным слухам. Так, Сазонов заявляет: «Говорят, что во имя доведения войны до победного конца, члены Государственной думы вместе с земским и городским съездами собираются провозгласить себя Учредительным собранием». Эти слухи отмечены и в моем дневнике с пояснением, что это Учредительное собрание будет «без демократии». Ни о каком Учредительном собрании, во всяком случае, земцы не думали. Их страшил «радикализм» торгово-промышленников, выдвигавших, как мы уже знаем, лозунг «ответственного министерства» вместо расплывчатого «министерства доверия».

Едва ли не по инициативе деятелей военно-промышленных кругов была выдвинута и кандидатура Львова в премьеры. У меня записано, что Львов ответил: «надо подумать» и что Львов едет «понюхать атмосферу» (передаю в той грубой форме, как спешно занесено в дневнике). Мы говорили, что руководящие круги в кадетской партии не очень склонны были поддерживать на первых порах кандидатуру Львова — она встречала сочувствие только в левом крыле партии. Постепенно кн. Львов становится общепризнанным кандидатом в председатели «ответственного министерства». Но это «ответственное министерство» никак нельзя отождествлять с тем «временным правительством», которое могло прийти к власти тем или иным революционным путем.

Сколь неопределенны были комбинации, складывавшиеся в политических лабораториях, показывает тот факт, что на одном из позднейших коноваловских совещаний очень много вновь говорили о кандидатуре Родзянко. Очевидно, это являлось результатом январского посещения великим князем Михаилом председателя Думы и предложения ему встать во главе ответственного министерства — предложения, к которому весьма скептически отнесся молодой Юсупов, в письме к матери.

Никакого временного правительства ни в 1916 г., ни в 1917 г. перед революцией не было выбрано. Предусмотрительные общественные деятели оказались совершенно не подготовленными к событиям, которые наступили в марте. Это. пожалуй, естественно, так как много говорили тогда о революции и абсолютно не верили в ее скорую возможность. Что сделали те. которые непосредственно участвовали в организации дворцового переворота для подготовки преемственности власти, — мы не знаем. Когда при общей растерянности в кабинете председателя Временного исполнительного комитета 1 марта стали намечаться будущие

министры, естественно было взяться за списки, ходившие уже по рукам. Это было тем более естественно, что лидер прогрессивного блока продолжат воспринимать «революцию» как своего рода «дворцовый переворот», после которого надлежало осуществлять программу блока.

Никакой деятельной роли «в избрании Львова и в устранении Родзянко», — вопреки утверждению Набокова, Милюков не играл. При революционном перевороте, как признает сам Милюков в своих исторических уже экскурсах, «выбор кн. Львова главою революционного правительства был столь же неудачен, сколько он был в свое время неизбежен»[94]. Старый список пополнился людьми, которых выдвигал момент. К таким случайным людям Милюков в «Истории второй русской революции» отнес Некрасова и Терещенко — они попали в министры в силу своей «особой близости к конспиративным кружкам, готовившим революцию». Относительно Некрасова Милюков, конечно, не прав, — его конкурент по влиянию в партии фигурировал почти во всех предшествовавших списках. Появление же «кающегося капиталиста» в числе революционных министров удивило не только Набокова. Будучи не в курсе заговорщических разговоров, Набоков не мог сочетать блестящего молодого человека, очень приятного в обращении, меломана и театрала, с министерством финансов. Тут играли роль некоторые другие флюиды.

В первоначальном списке, который набрасывал Милюков, присев «на минутку где-то, на уголке стола», не было Керенского: революция должна была осуществлять только про-

---

[94] Интересное замечание об этой «неизбежности» делает Н. И. Астров. «Это, по его словам, была «некая мистика». Сам Львов говорил, и страх проглядывал в его глазах: «Я чувствую, что линия проходит через мою голову...» И мы. твердившие на все лады имя Львова, не столько видели в нем спасающую силу, сколько сознавали, что ходом вещей он и только он выдвинут на авансцену политическою действия.

грамму прогрессивного блока. Милюков огласил на перманентном митинге в залах Таврического дворца предварительный список и вызвал бурный протест. Тогда члены прогрессивного блока стали уговаривать Керенского и пожертвовали Маклаковым. Намечался в министерство Шульгин, но отказался. Проскользнули кандидатуры Годнева и Вл. Львова.

Временное правительство, рожденное стихийной революцией, мало соответствовало моменту и настроениям. Взяты были старые рецепты, уже непригодные, раз переворот случился, по выражению Милюкова, «не тогда и не так, как бы мы этого хотели» (в статье «Старый подлог»).

Глава VIII. Масоны

1. Объединение общественности

Из того, что было сказано, можно видеть, что очень трудно концентрировать заговорщические действия, как некоторые склонны это делать, вокруг думского прогрессивного блока. На первый взгляд отдельные планы дворцового переворота как будто и совсем не связаны между собою. Два центральных проекта — львовский и гучковский — непосредственно вышедшие из среды общественности, по видимости, развиваются вне зависимости друг от друга. И только в словах Милюкова можно найти намек на некоторое взаимоотношение, установившееся между существовавшими «кружками» через посредство отдельных лиц. Милюков никогда не раскрывает скобки. Может быть, он и действительно не был достаточно в курсе, так как «заговорщиков» могла отталкивать его двойственная позиция — подчас слишком «правительственная».

Постараемся расшифровать связь, которая существовала, по крайней мере, между некоторыми «кружками».

Читатель, может быть, будет удивлен, когда я скажу, что эта связь была преимущественно по масонской линии. В широких общественных и литературных кругах так привыкли к фантасмагории о жидо-масонской интриге, которая творилась создателями всякого рода «протоколов сионских мудрецов», что с недоверием относятся к факту существования масонских организаций в дореволюционной России. Загадочное явление казалось мифом и легендой, и вдруг это оказывается действительностью. Такую метаморфозу испытал в эмиграции обозреватель «Сегодня» г. Вельский, прочитав новую книгу Щеголева «Охранники и авантюристы», в одной из глав которой воспроизводятся донесения кол. асессора Алексеева, посланного в 1910 г. в Париж Департаментом полиции

для изучения масонства и связей русских масонов с западноевропейскими братьями[95]. Нашему обозревателю никогда не приходило в голову, что под «черносотенной романтикой», под всем этим «вздором» может оказаться реальная подкладка. Прочитав еще воспоминания Бонч-Бруевича в «Звезде» о Кропоткине, автор нашел новое подтверждение тому, чему раньше верилось с трудом. Значит, интерес Департамента полиции к масонским делам был не праздный и не случайный! То, что раньше встречалось с насмешкой, получило ныне серьезный смысл. Масонство оказалось «большой революционной силой». Ну, это, конечно, не так — и особенно в отношении современного русского масонства.

Я не буду опровергать те многочисленные басни о русском масонстве XX столетия, которые имеются в официальной и официозной литературе, им посвященной (донесения Алексеева, статьи Манасевича-Мануйлова в «Новом времени» и др.) Здесь этому не место. Для ясности надо установить только одно — официально русское масонство возродилось в начале 1900 г. и связано было с французскими ложами. В 1908 г. в Россию приезжали два высокопоставленных брата и возвели в соответствующие степени и градусы находившегося в то время в тюрьме по делу газеты «Радикал» присяжного пов. Маргулиеса. Возрожденное масонство было нелегально в России. Однако имена, которые были названы теперь в зарубежной печати — Ковалевского, де-Роберти, Гамбарова, Вырубова[96], Амфитеатрова, Аничкова, Кедрина, членов

---

[95] В зарубежной печати (напр., «Последние новости» и др.) материал этот рассматривался как новый, между тем он опубликован был уже 13 лет тому назад в «Былом».

[96] Попутно поправляю несуразицу, попавшую в фельетон Амфитеатрова «Мое масонство» (в «Сегодня»): знаменитый ученый-позитивист, эмигрант Г. Вырубов, глубокий старик в наше уже время, никак не мог быть «разведенным супругом Анны Вырубовой». Женат был на Танеевой его племянник.

французской ложи «Космос», были известны, как имена масонские, довольно широкому кругу. Но и другие масоны были известны полиции. И по очень простой причине. Разбирая архив Московского охранного отделения в дни революции, я нашел там полный список членов московской ложи «Астрея» — очевидно, и в таинственном содружестве был свой осведомитель. В Москве «болтали» — говорят старые масоны, т. е. участники его в период 1906–1911 гг. И действительно, кто в Москве не знал, например, что масоном является психиатр Баженов, кто только иронически не подсмеивался над его «столовыми ложами».

Не то было — утверждают масоны — в Петербурге, в ложе «Северная Звезда», где собирались самые столпы русского масонства. Но и это только заблуждение. Вели дело так конспиративно, что ничего не записывалось в трафаретные «протоколы». Имена членов знали лишь «оратор» ложи М. С. Маргулиес и «секретарь» кн. Бебутов. И ларчик открывался просто. Общественная деятельность кн. Бебутова давно уже поставлена под сомнение — его обвиняли в сношениях с Департаментом полиции[97].

Допустим даже, что этого не было. В. Л. Бурцев считает несомненною связь Бебутова с немецким генеральным штабом. Он не был, как говорит другой авторитетный свидетель, «вульгарным агентом» — у немцев было много разных градаций в агентуре. Бебутов только информировал немецкий штаб о русских настроениях. Он информировал и Манасевича-Мануйлова. Это слышал Бурцев непосредственно от последнего. Бебутов давал сведения об общественных настроениях для доклада в высшие сферы. Вероятно, от него

[97] См. протоколы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства — допрос Манасевича-Мануйлова. После февральской революции Бебутов, по требованию Н. Д. Соколова и А. С. Зарудного, был подвергнут домашнему аресту.

Манасевич-Мануйлов получил и свои материалы о русских масонах...[98] Конспирация была разоблачена. Может быть, поэтому «братья» и решили «уснуть» в 1911 году.

Какое имело значение это первое возродившееся русское масонство? Что делали братья помимо «нравственного усовершенствования»? Бывший «брат» Амфитеатров, возведенный неизвестно за какие заслуги в «мастера стула», с большой развязностью вспоминал недавно о своем участии среди русских масонов во французских ложах шотландского устава. Его «перемасонил» М. М. Ковалевский. Привлекало Амфитеатрова три магнита: 1) «обаяние Ковалевского», 2) «расчеты революционно-политической тактики, как наступательной, так того пуще, оборонительной» (это требует пояснения: при своем «революционном настроении и действовании» Амфитеатров очень нуждался в «возможности самозащиты в случае полицейского натиска из Петербурга». Масонство было своего рода «брестом»[99]. 3) интерес «романтический», интерес Пьера Безухова из «Войны и мира», влекший Амфитеатрова к масонству с юных дней. Последний магнит представляется сомнительным, ибо в других тонах вспоминал бы в преклонном возрасте Амфитеатров «журавлиные танцы и азбуку глухонемых», которыми он занимался в своей зрелой уже юности.

В изложении Амфитеатрова русское масонство приобретает какой-то бутафорский характер. Очевидно, политические замыслы русских масонов были более глубоки. В

---

[98] Я считаю необходимым оговорить, что М. С. Маргулиес считает абсолютно недоказанными обвинения Бебутова, хотя бы в косвенных сношениях с Департаментом полиции и передаче сведений о масонах. Свидания с Манасевичем-Мануйловым Маргулиес объясняет желанием Бебутова получать политическую информацию от Мануйлова, вращавшегося в высших бюрократических кругах.

[99] Рассчитывал Амфитеатров на Лигу защиты прав, но у нее было влияние только настолько, насколько она «опиралась на масонство».

воспоминаниях Бонч-Бруевича, цитированных Вельским, рассказывается о встречах с Кропоткиным, который считал, что «революционное движение очень много потеряет от того, если так или иначе не будет связано с масонством, имеющим свои нити в России в самых разнообразных сферах». «Он (Кропоткин) был прав, — заключает Бонч-Бруевич, — оппозиционная деятельность русских либералов имела непосредственную связь с масонством, через них проникала всюду и везде в самые потаенные места самодержавного организма. Роль масонов в февральском движении... еще подлежит всестороннему исследованию. Так, мне доподлинно теперь известно, что... целый ряд трудовиков и лиц, принадлежащих к конституционно-демократической и народно-демократической (?) партиям, а также к так наз. народно-социалистической — действительно принадлежат к масонским разветвлениям...»

Слишком много «доподлинного» известно Бонч-Бруевичу. Многое он преувеличивает, соединяя в одно разные эпохи[100]. Но, действительно, через масонов шла организация общественного мнения и создавалась некоторая политическая солидарность. Очевидец рассказывал мне, напр., о приеме в масонский клан командира финляндского полка Теплова. Одним из братьев ему задан был вопрос о царе. Теплов ответил: «Убью, если велено будет...» Были инсталлированы ложи не только в Петербурге и Москве, но и в Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде. Была в Петербурге военная ложа, собиравшаяся, между прочим, во дворце А. А. Орлова-Давыдова. Говорить, однако, о каких то 30 тыс. масонов не приходится. Это были маленькие кружки.

[100] Из народных социалистов (тогдашнего времени, до слияния в 1917 г. с «трудовиками») никто не принадлежал к масонскому «ордену». Знал о масонстве А. С. Пругавин (через Кедрина). В свое время он мне рассказал много подробностей.

***

В 1915 г. явилась мысль о возрождении масонских организаций. По-видимому, инициатива исходила из Киева. И цель была чисто политическая. Под внешним масонским флагом хотели достигнуть того политического объединения, которое никогда не давалось русской общественности. Объединение должно было носить характер «левый». В сущности, органического отношения к «уснувшему» масонству эта организация не имела, за исключением личных связей. Так, активную роль играл, между прочим, один из прежних масонов, член Думы Некрасов. В организацию, по моим сведениям, входили представители разных политических течений до большевиков включительно.

О существовании этой организации я знаю уже потому, что меня туда звали. Среди звавших был покойный В. П. Обнинский. Н. И. Астров рассказывал, что звали и его — переговоры вели Н. Н. Баженов, С. А. Балавинский и одно из ныне здравствующих лиц. Случай еще приоткрыл мне несколько потаенную дверь. По некоторым намекам я догадался, между прочим, что в изданной в то время книге Сидоренко «Итальянские угольщики» помещен устав той русской масонской организации, о которой идет речь.

В масонстве 1915 г. много было наивного. Люди говорили о ритуале, не отдавая себе в нем отчета. Для многих таинственность была своего рода психологической игрой. Я решительно отказался вступить в масонскую организацию, так как для подлинного объединения мне казались ненужными и запоздалыми традиционная внешность, быть может, для некоторых понятная там, где масонство как бы срослось с бытом (например, во Франции). Масонская форма в российской обстановке не могла содействовать серьезному политическому объединению, потребность в котором была так

ощутительна и создать которое не удавалось. Партийные переговоры были сильнее «братской» солидарности. Разную психологию во время войны нельзя было нивелировать однородным масонским законом. Мне пришлось в ту пору принять самое близкое участие в попытке создать социалистическое объединение (конечно, оборонческого типа) в связи с предложением создать левую газету и в конце концов пришлось только записать в дневник: «Некто в сером все еще мешает такому объединению».

Я не могу сейчас вдаваться в воспоминания. Мои пояснения нужны были только для посильной характеристики типа той масонской организации, которая явилась на Божий свет в 1915 г. Так, по крайней мере, мне ее изображали входившие в нее члены. Как чисто политическая, эта организация считалась правоверными масонами ложей «нерегулярной», т. е. не зарегистрированной по статуту[101].

Итак, целью ее как будто было политическое объединение. Кто входил в основной кружок? Это трудно точно восстановить, так как масоны 1915 года и по сие время скрывают свое участие, сохраняя «клятву» о конспирации. Но шила в мешке не утаишь. Секрет полишинеля, что в центре были как Некрасов и Терещенко, принимавшие столь близкое участие в организации дворцового переворота, так и Керенский, о котором почти не приходилось еще говорить, так как левый фланг русской общественности — социалистический — стоял в стороне от непосредственного участия в заговорах.

---

[101] В. А. Маклаков, не скрывающий своего участия в более ранних масонских ложах, рассказывал мне, что, узнав от Кедрина о возникших в 1915 году ложах, он не отказывался, как посвященный в соответствующие степени, открыть ложу, согласно закону. Но формально ложа все-таки открыта не была.

2. Заговорщический Центр

Мне кажется, что масонская ячейка и была связующим как бы звеном между отдельными группами «заговорщиков» — той закулисной дирижерской палочкой, которая пыталась управлять событиями.

Я не знаю в точности, что имел в виду В. И. Гурко, когда говорил о существовании до революции конспиративных комитетов 7 и 11. Из реплики Милюкова (такое сообщение «является для меня, к моему стыду, как историка революции, совершенно неожиданным. Впредь до более авторитетного подтверждения, я остерегусь внести этот факт в текст своей истории») следует заключить, что для Милюкова утверждение Гурко представлялось фантастическим. Никаких конкретных следов существования комитетов 7 и 11 я не нашел, но, несомненно, та «пятерка», о которой в 1916 г. докладывал директор Департамента полиции Климович[102], не является полицейской фантазией и реально существовала — только едва ли она была чисто московского происхождения.

Кое-что разъясняют нам рассказы Н. И. Астрова о том, как его звал вступить в такую секретную «пятерку» Н. В. Некрасов. Это было в интимной беседе осенью 1916 г. Некрасов называл четырех лиц: Керенского, Терещенко, Коновалова и себя. Некрасов не говорил о «заговоре» — он говорил только об объединении общественности в настоящий критической момент. Астров отказался; пятое место занял И. Н. Ефремов. Из всех перечисленных лиц только Коновалов мог быть не масоном, но логически приходится заключить, что и он принадлежал к составу масонского «ордена» 1915 года.

---

[102] Палеолог в некрологе Климовича («Новое время», 11 июня 1930 г.) говорит, что он сам читал доклад директора департамента в августе 1916 года, где говорилось о головке революционного штаба в Москве.

Наличность «пятерки» как будто бы можно считать установленной. Мысль о конспиративном центре возникла, по-видимому, еще в 1915 г., когда переворот впервые был поставлен в очередь дня (Милюков в «Истории второй русской революции» это относит к весне 1915 г.). В книге XXVI «Красного архива» опубликован документ, наводящий на некоторые размышления. Дата документа — 8 сентября 1915 г. Большевистские архивисты говорят, что он найден в Петрограде «среди бумаг Гучкова». Озаглавлен документ своеобразно: «Диспозиция № 1» и подписан «Комитетом народного спасенья». В «диспозиции» считается «необходимым»: 1) Признать, что война ведется на два фронта: против упорного и искусного врага вовне и против не менее упорного и искусного врага внутри. 2) Отделить определенно и открыто людей, понимающих и признающих наличность внутренней войны, столь же важной, как и внешняя, от людей, не понимающих или не желающих признать наличность двух войн. 3) Признать, что достигнуть полной победы над внешним врагом немыслимо без предварительной полной победы над врагом внутренним. 4) Признать, что полная победа внутри означает публичное и окончательное связующее преклонение всех без исключения лиц в империи перед утверждением: «Русский народ есть единственный державный хозяин земли русской», с соответственными из сего практическими выводами, а именно... беспрекословного подчинения и организованной воли. 5) Для успешности борьбы по внутреннему фронту отстаивать[103] идею всяких блоков и объединений с элементами зыбкими и сомнительными, немедленно назначить штаб верховного командования из десяти лиц, предоставив сие основной ячейке: кн. Львов, А. И. Гучков и А. Ф. Керенский, и, отказавшись от выбора

[103] Не опечатка ли? Не надо ли: «оставить».

кандидата, от назначения его по признаку личного уважения и прошлых заслуг, назначать исключительно по признакам: а) ясность мышления; б) честность слова и твердость воли. 6) Признать, что организация борьбы за народные права должна вестись по установленным практикой правилам военной централизации и дисциплины. 7) Верховное командование организованным народом в борьбе за свои права принять на себя А. И. Гучкову, как объединяющему в себе доверие армии и Москвы, отныне не только сердца, но и волевого центра России. 8) Методы борьбы за права народа должны быть мирными, но твердыми и искусными. Памятуя, что лиц с именем, на которое с упованием взирает армия и народ, никто тронуть не посмеет, эти лица должны дерзать произносить своевременно слова и действия, другим недоступные. Коронованные народным доверием и надеждой, они должны принять на себя не только лавры венков, но и тернии. 9) Мирная борьба разумеет, прежде всего, открытое и всенародное отделение козлищ от овец. Кто за народ, должен быть отделен и сорганизован, дабы тверды и дисциплинированы были его кадры. Кто против народа, тот должен быть занесен в особый список с занесением его проступков и ответственности за задержку дела обновления России. 10) Сия работа, не касающаяся обыкновенных граждан, а исключительно лиц, участвовавших в государственной машине и общественной деятельности, даст возможность определить силу обоих лагерей и в зависимости от этого укажет и способы мирной борьбы. 11) Мирная борьба должна оперировать не методами забастовок, вредных для войны и для интересов населения и государства, а методами *отказа войск* (курсив мой), борцов за народное дело, от какого бы то ни было *общения* с лицом, удаление которого от государственных и общественных функций декретовано верховным командованием... 12) Признать, что внешним фактором успеха или проигрыша внутренней войны представляется пресса и ее

повышающее — правдиво-патриотическое или понижающее лживо-пошлое — воздействие на массы... подчинить прессу верховному командованию и требовать ее согласованных действий, несогласных же заставлять молчать путем снятия с работы рабочего персонала и объявления бойкота неподчинившихся органов печати... Заканчивается эта странная бумага обращением: «Сочувствующие приглашаются заявлять о том вышеупомянутым лицам. Из числа этих заявлений будет видно, созрели ли обыватели до сознания неотложной необходимости по военному организованной, не боящейся света армии для открытой, мирной, но неослабной борьбы за победу, порядок и права народа».

Я привел этот документ почти in extenso[104], так как при изложении утратилась бы оригинальная его колоритность. Что это? Мистификация? Полицейское измышление? Плод досужей фантазии любителя измышлять проекты? Из трех предположений третье наиболее возможно. Надо, однако, признать, что при всем своем своеобразии документ довольно отчетливо формулировал задачи, которые преследовала оппозиционная правительству политика. Я склонен думать, что документ этот имеет масонские корни. Быть может, у иного читателя такое предположение вызовет ироническую улыбку. Но ведь все масонство, в сущности, было «игрой» в аллегории и символы. Иносказательный язык и моральные сентенции — органическая часть масонского «просвещения». Любой масонский документ будет производить впечатление ходульной наивности. В чьем ином мозгу в 1915 г. могла создаться столь необычайная комбинация, которая соединила в одно кн. Львова, Гучкова и Керенского?

Если предположить, что Львов и Гучков принадлежали к масонству 1915 г., имевшему карбонарские черты, тайна мог-

---

[104] Дословно.

ла бы до некоторой степени разъясниться. Мне представляется возможным такое утверждение, но никаких конкретных данных для подтверждения гипотезы нет[105]. Масонство 1915 г. имело левое направление. Гучков числился в рядах «правых». Однако мне известно об участии в тогдашних ложах людей, которых можно было бы отнести к кругу политических единомышленников А. И. Гучкова.

Надо ли говорить, что А. И. Гучков и А. Ф. Керенский отрицают возможность указанной в документе политической комбинации. Керенский отмечает, что с Гучковым он не был знаком до революции, с Львовым он встретился впервые осенью 1916 г. Но я и не думаю, что документ этот мог исходить *непосредственно* от них.

***

Допустим, что проект «комитета спасения» — продукт чьей-то творческой фантазии. Так или иначе, но к концу 1916 г. такой объединяющий конспиративный центр образовался. «Пятерка» действует довольно энергично и принимает активное участие во всех общественных начинаниях того времени.

В том, что мы называли «заговором Гучкова», самое живое участие принимают Некрасов и Терещенко. Они входят в основную «тройку», которая руководит подготовкой действий. Через Терещенко проходят нити к Родзянко и к великосветским кругам. Некрасов связывает заговор с думскими сферами и с партией, в которой он состоял и занимал видное

---

[105] То, что Львов долгое время во Временном правительстве поддерживал тройку (Керенский — Некрасов — Терещенко), скорее говорит в пользу масонских связей. Характерно, что в кадетской среде поддерживали Львова, числящегося скорее в правом крыле этой партии, где он был, в сущности, случайным гостем, именно левые, провинциальные кадеты, которые главным образом и улавливались в масонские ложи.

положение. Он как раз представлял то левое крыло, которое тянуло к «трудовикам» и «вносило тенденции непримиримости и открыто враждебных против правительства выступлений». Некрасов связывал, таким образом, дворцовый переворот с социалистической частью демократической общественности.

Близкие отношения Некрасова к Львову соединяли петербургские проекты с московскими затеями. Гучков, по его словам, не был осведомлен о конспиративной деятельности кн. Львова. Знал ли что-либо Львов? Показательно, что, по рассказу Хатисова, Львов, в случае получения согласия великого князя Николая Николаевича, должен был немедленно снестись с Гучковым, «находившимся в то время на фронте, и привлечь его к участию в осуществлении заговора». Есть и еще одно знаменательное совпадение. Вспомним, что Хатисов должен был указать на сочувствие заговору ген. Маниковского. И со стороны именно Некрасова, несколько неожиданно для «левого» кадета, в частном заседании Государственной думы, в полуциркульном зале, 27 февраля было сделано, по свидетельству Шидловского, предложение о военной диктатуре и о вручении власти популярному генералу, имя которого и назвал Некрасов. Это был ген. Маниковский.

Настойчиво встает вопрос — числился ли в рядах масонов сам А. И. Хатисов? Все недоумения с его «миссией» в значительной степени разрешаются при таком предположении. Нельзя не обратить внимание на одно показание А. В. Амфитеатрова. Почему во французской ложе «Космос» было так много русско-армянских деятелей? Но это «очень понятно», — говорит Амфитеатров: «все эти армяне были членами, деятелями и сочувственниками «Молодой Армении».

С Некрасовым, как пропагатором, мы действительно встречаемся повсюду. Некрасов, как мы видели, вел переговоры с Астровым о вступлении его в «пятерку». Некрасов

вместе с Демидовым зондирует в январе 1917 г. почву у Маклакова. Они пытаются его привлечь к заговору. Маклаков, по его словам, уклонился. Маклаков предпочитал также «ждать», информироваться и выступать с общими докладами о грядущих событиях. В этом же январе Некрасов прощупывает и Шульгина. «Он начал издалека, — вспоминает Шульгин, — и, так сказать a mots couverts. Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, т. е. о дворцовом перевороте... Н.[106] говорил о том, что государственный корабль в опасности... и поэтому требуются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза. Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза, а ведь вместе они составляют русский народ — пошли ли бы вы на эти совершенно не вмещающиеся в обыденные рамки совершенно экстренные меры, пошли ли бы вы на них для спасенья родины?» Шульгин, ссылаясь на теорию моряков — «суденщиков» и «шлюпочников», пояснил, что «шлюпочники» во время кораблекрушения утверждают, что надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения; «суденщики» же говорят, что надо оставаться на судне, так как из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море, а один шанс остается и у гибнущего корабля. «Вывод, — пояснил свою параллель Шульгин, — тот, что я принадлежу к школе «суденщиков», а потому остаюсь на судне». Решено было о разговоре забыть...

Некрасов, отстаивающий в Москве позицию, что правительство нужно заставить принять общественные требования, озабочен созданием организации, которая могла бы сделать

---

[106] Шульгин из излишней щепетильности не называет Некрасова полной фамилией, но дает столь явные показания: «У него на моложавом лице всегда были большие розовые пятна — не знаю — от чахотки или от здоровья».

этот напор. «Надо всю Россию покрыть всероссийскими союзами» — так и информаторы характеризуют некрасовскую агитацию на мартовских съездах 1916 г. Организовать рабочих, промышленников, крестьян, кооператоров. Когда эти союзы возникнут, тогда они вместе с городскими и земскими союзами выделят из своей среды центральный орган, который и будет направляющим, координирующим органом — штабом общественных сил всей России. Этот центральный орган, по мнению Некрасова, высказываемому в частных беседах, должен явиться «союзом союзов», «с теми же целями и заданиями, какие он имел в 1905 году». Надо к 7 центральным союзам привлечь и национальные организации.

С левыми кругами, одновременно и с крупной буржуазией, заговоры связывались и через А. И. Коновалова, который не мог не быть в курсе дела, состоя вместе с Некрасовым и Терещенко в «пятерке». Действия Коновалова «явно рассчитаны на государственный переворот — утверждалось еще 21-го августа в Совете министров». Под флагом военно-промышленных комитетов возрождаются рабочие организации — говорил, по сведениям информаторов, Коновалов в кругу более лево настроенных членов городского союза. Прогрессисты в Думе весьма определенно призывали к объединению «организованной демократии». Приобретает особый характер то, что именно квартира Коновалова сделалась центром всех оппозиционных совещаний — отсюда идет «штурм власти», здесь уже закладывается мост между кадетами и левее стоящими группами. Так была произведена попытка политического объединения соответственно задачам масонов — от большевиков до кадетов.

***

В конце концов, некоторые «левые» (думские социалисты) оказались довольно хорошо осведомлены о проекте дворцо-

вого переворота и как бы молчаливо его санкционировали, не предвидя еще подлинно революционного движения в стране. Шляпников утверждает, что о «заговоре» знали Чхеидзе, Скобелев, Чхенкели, Керенский. По его словам, об этом ему говорил Н. Д. Скобелев в начале 1917 г. Хатисов рассказал, как он осведомил Чхеидзе о своей миссии на Кавказе и как тот просил его передать Джордании и другим, чтобы они не выступали и сдерживали рабочих, так как правительство может вызвать массовые волнения нарочно для того, чтобы уничтожить оппозицию. Может быть, потому Чхеидзе и был в первые дни революции так напуган «солдатским бунтом», как это говорит Милюков, что, не веря в революцию, этот социал-демократ действительно ставил ставку на дворцовый переворот?

Важное свидетельство мы имеем со стороны Станкевича. «В конце января месяца, — рассказывает он, — мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским. Речь шла о возможностях дворцового переворота. К возможностям народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левое русло, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны. Даже вопрос о переходе к конституционному режиму вызывал серьезные опасения и убеждения, что новой власти нельзя будет обойтись без суровых мер для поддержания порядка и недопущения пораженческой пропаганды[107]. Но это не колебало общей решимости покончить с безобразиями придворных кругов и низвергнуть Николая. В качестве кандидатов на престол назывались различные имена, но наибольшее единодушие вызывало имя Михаила Александровича, как

[107] Сравните с тем, что было раньше сказано о колебаниях в вопросе о вхождении общественников в министерство доверия.

единственного кандидата, обеспечивающего конституционность правления». По Станкевичу выходит, что тот «очень интимный кружок», где он встретился с Керенским, не только информировался, но и проявлял инициативу в вопросе о кандидатах на престол в случае переворота. Не был ли в этом интимном кружке Соколов, рассказавший потом Шляпникову о подготовке дворцового переворота? Нет сомнений, что Соколов принадлежал к тогдашней «масонской» организации.

Керенский сам рассказывает во французском издании своих воспоминаний: «Наша смешанная группа, составленная из представителей всех левых элементов Думы[108], находилась в сношениях со всеми радикальными активными силами страны и мы силились, при посредстве наших агентов, избегать раздоров, которые могли бы повредить проектируемому перевороту. Было это тем более необходимо, что многие революционные центры не были в курсе целей, преследуемых другими организациями. Сверх той помощи, которую мы оказывали организаторам переворота для облегчения им оного, мы должны были подготовить к этому событию все демократические и социалистические партии и даже создать сборный пункт, вокруг которого они бы сгруппировались силами, чтобы в случае нужды взять на себя контроль над эксцессами населения. Этим сборным пунктом было секретное информационное бюро демократических партий».

Информационное бюро демократических партий! Это сказано слишком сильно. Нельзя случайные собрания и благие пожелания выдавать за «левый блок». Благих пожеланий было много. Так доклад Петроградского охранного отделения (октябрь 1916) рассказывает нам о собрании представителей

---

[108] Бюро этого левого объединения в Думе, по-видимому, состояло из Колюбакина (к.-д.), Некрасова, Керенского и Чхеидзе.

революционных организаций 9 октября на квартире Чхеидзе. Целью собрания являлось заслушивание доклада Керенского о положении дел в Туркестане. Информаторы утверждают, что при обсуждении текущего политического момента собрание стало на точку зрения пораженцев Циммервальдского и Кинтальского толка, за исключением прис. повер. Соколова (обобщение неосновательное, так как среди присутствовавших доклад отмечает А. В. Пешехонова). Собрание признало «наличность общего и определенного индифферентизма» к деятельности Государственной думы, банкротство думского прогрессивного блока и безусловный упадок влияния прогрессивно-либеральных течений, констатируя в то же время пробуждение политического самосознания в массах, которое создает благоприятное для революционных начинаний положение. Это обстоятельство и послужило «основанием для обсуждения, по предложению писателя-народника Пешехонова, вопроса о «левом блоке». К предложению отнеслись принципиально сочувственно и решили на рождественских каникулах собрать новое заседание, предварительно обсудив вопрос у себя в партийных организациях. У страха глаза велики. Может быть, информаторы нарочно усиливали впечатления своих доверителей. На рождественских каникулах ничего не произошло, и вопрос о «левом блоке» продолжал безнадежно висеть в воздухе.

Мне кажется, что А. Ф. Керенский скорее свои «масонские» связи склонен выдавать за левое объединение. Как далеко это было от действительности, мы увидим, подойдя вплотную к февральским дням.

Глава IX. В ожидании революции

1. На верхах

Была ли достаточно осведомлена власть о тех заговорщических планах, которые зрели и подготовлялись в общественных кругах?

Мы много раз видели, насколько хорошо был информирован Департамент полиции о настроениях общества. Наши выписки могли бы быть умножены и дополнены позднейшими докладами политической полиции. С каждым днем, по мере приближения к февральским событиям, тон их становится тревожнее. Чаще начинают попадаться имена «доморощенных Юаньшикаев» в лице Гучкова, Львова. Коновалова и других «загадочных представителей общественности». Информаторы отмечают всеобщую убежденность, что от этих лиц «будет зависеть дать последний и решительный сигнал к началу второй великой и последней всероссийской революции». Правда, эту убежденность они называют «наивной», но сами общественное возбуждение рисуют в таких преувеличенных тонах, что подобное представление отнюдь не кажется уже наивным. «Нет в Петрограде, — констатирует одна из январских записок, — в настоящее время семьи так называемого интеллигентного обывателя, где шепотком не говорилось бы о том, что скоро, наверно, прикончат того или иного из представителей правящей власти. В семьях лиц, мало-мальски затронутых политикой, открыто и свободно раздаются речи... затрагивающие даже священную особу государя...» Записка говорит, что «повсеместно и усиленно» муссируются слухи о близком дворцовом перевороте.

Но все это общие места, и начинает казаться, что конкретных планов Департамент полиции не знал. Конечно, в общие департаментские записки секретные данные могли и не по-

пасть. В нашем распоряжении еще слишком мало материала для категорического суждения. При известном легкомыслии некоторых из участников конспирации факты должны были просачиваться в Департамент. Осторожный Белецкий на допросе прямо показывает: «Напрасно думают, что правительство об этом не знало». Экспансивный Протопопов, в беседе со Львовым (вероятно, в ноябре), с откровенностью заявил, что ему известно, что к.-д. имеют план выкрасть царя из Ставки, перевезти в Москву и заставить «коленопреклоненно» присягнуть конституции. Ведь это не так уже далеко от истины[109]!

О том, что делалось и говорилось в декабрьские дни в Москве, знали не только местные информаторы Охранного отделения. Из Астрахани Тиханович-Савицкий, председатель астраханской монархической народной партии, уведомлял конфиденциальной телеграммой 30 декабря близкого Николаю II адмирала Нилова о том, что было в Москве. Откуда это узнал Тиханович? Из доклада уже в Астрахани вернувшегося со съезда городского головы. На частном секретном совещании последний передавал, что запрещенные съезды все же состоялись, рассказывал о каком-то ночном совещании у Долгорукова с участием Милюкова, Шингарева, Львова, Челнокова, Астрова, на котором говорилось о необходимости заранее наметить временное правительство и будущих представителей власти на местах. Тиханович сообщал Нилову о подготовке Гучковым дворцового переворота и умолял воздействовать на царя в том смысле, чтобы были удалены из армии с ответственных постов «гучковцы» и, в частности,

---

[109] В. А. Маклаков рассказывает характерный инцидент. После одного из «информационных» собраний у Коновалова потребовалась спешная отправка сообщения в Петроград. С особым «нарочным» было послано письмо Маклакова и... попало в Департамент полиции. После революции письмо это найдено было в департаментском архиве.

ген. Лукомский, считавшийся «кадетствующим». Нилов на эти конфиденциальные телеграммы отвечал, что сообщения Тихановича получил и передал по назначению, т. е. царю[110]. О возможности династического переворота говорила и записка Римского-Корсакова.

Часто хорошо информированный Палеолог с категоричностью записывает в дневник, что в дни, последовавшие за убийством Распутина, Охранное отделение было прекрасно осведомлено об агитации, которая велась в казармах, и что расследованием руководит Белецкий[111].

Списки заговорщиков из среды моряков будто бы уже были в руках главного военно-морского прокурора, но дело не получило движения потому, что сен. Виноградов сочувствовал перевороту. Хатисов передает, что незадолго до февральских событий он получил сведения от одной фрейлины, проживавшей в Тифлисе, что содержание его *«секретных переговоров»* с великим князем Николаем Николаевичем стало известно в Петрограде. Говорили, что царь был осведомлен об этом ген. Климовичем? Откуда же мог узнать последний? Было бы интересно разъяснить такую загадку[112].

Как видим, нити заговоров были действительно в руках правительства. А не только висела угроза, что вся подготовляемая махинация каждый день может быть раскрыта (слова Хатисова). О возможности убийства царя вели между собой 4 января беседу не только гр. Коковцев и Палеолог, не только царица-мать боялась, что Николаю II уготована судьба Павла, — это говорили в самом близком окружении царя. Что

---

[110] Часть этого материала передана мною в Пражский Архив.

[111] По словам Белецкого, царя, однако, не удавалось разубедить в его доверии к армии. Об агитации в армии, об офицерских кружках, которые посещались и солдатами, делал Николаю II особый доклад и военный министр ген. Беляев.

[112] Отмечу, что Бебутов имел сношения с Хатисовым.

может быть более характерного той записи, которую делает придворный историограф ген. Дубенский: «Императрица Мария Федоровна говорила: «Я верю, что Господь помилует Россию, и императрица А. Ф. должна устраниться. Как это будет — не знаю; но будет... Может, А. Ф. сойдет окончательно с ума, может быть, пойдет в монастырь или *вообще пропадет*!» Состоящий при Марии Федоровне кн. Шервашидзе сказал: «Я надеюсь, что Николай-угодник спасет Россию, но сохранит ли он династию — я сомневаюсь». На допросе Дубенский пояснил: «Очень много говорили об этом. Мне сам кн. Орлов говорил, что нужно императрицу куда-нибудь убрать — в Ливадию — куда хотите, но чтобы она там жила, иначе это кончится величайшим крахом. Говорили и про монастырь, говорили *все то, что вы, вероятно, знаете*». Приехавший во второй половине февраля ген. Спиридович рассказывает Дубенскому, что в самой резиденции государя... идут разговоры, что хотят Вырубову и государыню убить».

Чем же объяснить поразительную пассивность верховной власти? Что сделало бы в таком случае правительство якобинское? — задавал себе как-то вопрос по сравнительно мелкому поводу (студенческая демонстрация в 1904 году во время войны) Лев Тихомиров. И отвечал: «Истолкло бы в порошок». В 1917 г., по словам Шляпникова, во время студенческой демонстрации в Москве 12 января полиция предложила студентам хоть раз пропеть национальный гимн... Власть в 1917 г. была бессильна — поясняет Белецкий: у правительства «не было людей твердых, которые могли бы перейти на путь осуществления борьбы»; полумеры, против которых боролись составители записки, вышедшей из правого кружка Римского-Корсакова, не достигали цели. Может быть, Белецкий и прав. Признаком падающей власти всегда является ее бессилие в критический момент.

Но только отчасти это может объяснить пассивность власти. Царь с самого начала войны и катастрофы — утверждает

Набоков — абсолютно не отдавал себе отчета в роковом значении разыгрывающихся событий[113].

Едва ли это было так. Читатель, привыкший уже к установившимся взглядам, пожалуй, будет удивлен, узнав, какую резолюцию положил Николай II на донесении Тихановича, полученном через Нилова: во время войны общественные организации трогать нельзя. Злоумышляющего Гучкова, которого наряду с Керенским «царица так хотела бы повесить», царь повелел при докладе Штюрмера 16 сентября только предупредить, что он подвергнется высылке из столицы. Когда Протопопов докладывал царю о сношениях Бьюкенена с главарями блока и предлагал установить наблюдение за английским посольством, царь не одобрил предложений Протопопова[114].

Что-то препятствовало Николаю II во время войны вступить на путь «решительной борьбы» с общественностью. Мешало то глубоко разложенное в нем патриотическое чувство, которое диктовало резолюцию по делу сахарозаводчиков (дело Доброго, Цехановского, Гепнера и др.): «Дело... прекратить... пусть... усердною работою на пользу родины они искупят свою вину, если таковая за ними была». Очевидно, не было фразой у царя то, что он говорил гр. Игнатьеву, подавшему в отставку: для родины оставайтесь на своем месте.

---

[113] Такое же утверждение делается обычно и в отношении революции 1905 г. Это мало соответствовало действительности.

[114] Это не помешало, однако, установить реальное наблюдение за английским посольством и посещающими его лицами. Е. П. Ковалевский как-то назвал «легендой» совещания русских общественных деятелей с представителями английского посольства. Едва ли приходится отрицать такие встречи и взаимную информацию. Это, конечно, очень далеко от трафаретного в некоторых кругах утверждения, что англичане де подготовили революцию 1917 г. Для Бьюкенена революция — это неизбежные беспорядки. Но, несомненно, английский посол сочувствовал дворцовому перевороту: он так определенно заявлял, что для России было бы гораздо лучше, если бы «революция» пришла сверху.

Пассивность порождала и особого рода фатализм, на котором настаивал Дубенский при допросе в Следственной комиссии Временного правительства. Между ним и Муравьевым произошел такой диалог.

Председатель: — Чем вы объясняете эту пассивность? Поскольку выясняется особа и личность царя, он человек, который может понимать...

Дубенский: — Он человек очень не глупый.

Председатель: — Вот именно, это я и хотел сказать. Чем же объясняется, какими свойствами характера, что при некотором уме...

Дубенский: — Никак не могу объяснить его отношение. Это такой фаталист, что я не могу себе представить.

Фатализм в значительной степени заставлял идти за событиями. 12 января Бьюкенен предупреждает царя о грядущей революции и гибели. Николай II был «видимо тронут» и, пожав руку английскому послу, сказал: «Благодарю вас, сэр Джордж». «Ваше величество, спасайте себя» — взывает Родзянко в последнем своем докладе 10 февраля... «Я вас предупреждаю, я убежден, не пройдет и трех недель с этого дня, как вспыхнет революция, которая сметет вас, и вы уже царствовать не будете...»

Эта «революция», может быть и страшная, — какое-то фатальное начало, устранить которое не в пределах человеческой воли. Нилов говорил всегда одно и то же: «Будет революция, все равно, нас всех повесят, а на каком фонаре, все равно». Царь родившийся в день Иова Многострадального, превращался в своего рода «искупительную жертву». Так записал еще в первую революцию Лев Тихомиров...

Вера в грядущую революцию становится всеобщим гипнозом. Уже в августе 1915 г. в Совете министров почти истерически кричат о революции. Яхонтов записывает 18 августа: «Если судить о положении дела по разговорам в Совете,

то вместо писания истории, скоро придется повисеть на фонаре». «Кровь завтра потечет по улице, и Россия окунется в бездну» — говорит Сазонов 2 сентября. Департамент полиции старается убедить власть, что до окончания войны правительству нечего бояться. Но после войны должно наступить неизбежное... «После войны, — записывает ген. Селивачев 8 марта, — революция была бы более кровавая».

Эта психология не только общества, но и самого правительства объясняет нам причину, почему февральские дни с такой легкостью превратились в революцию.

2. Неудавшаяся демонстрация

14 февраля — это дата несостоявшейся или, вернее, неудавшейся в Петрограде рабочей демонстрации. Вокруг этого факта так отчетливо проявились настроения и ожидания разных политических групп, так ясно определилась их тактика, что 14 февраля во всех отношениях можно считать преддверием и символом мартовских событий.

Январь 1917 г. — время тревожных ожиданий: «все ждут каких то исключительных событий и выступлений как с той, так и с другой стороны», — констатируют записи петроградского Охранного отделения о Государственной думе. Эти ожидания несомненно связаны с проектом, что Дума, после предположенной антиправительственной демонстрации, не подчинится указу о роспуске. Родзянко вспоминает, что в январе к нему прибыли кн. Львов, Челноков и Коновалов, в качестве представителей союзов, и требовали, чтобы он «приехал в Москву на их общий съезд и стал во главе движения»[115]. Слова председателя Государственной думы подтверждают те разговоры в салонах Коновалова и Рябушинского,

---

[115] Родзянко сейчас же оговаривается: «В том смысле, чтобы еще раз гласно выразить желание о спасении страны».

которые передавали правительственные информаторы, изображая дело так, что Государственная дума, по мысли прогрессистов, должна превратиться в своего рода «конвент»[116]. Мы знаем, что эти проекты вызвали довольно решительную оппозицию и не вышли из стадии предварительного обмена мнениями. Поэтому нет никакого основания для утверждения, которое делает комментатор материалов «Буржуазия накануне революции», что активное выступление в виде дворцового переворота, приуроченного к ожидавшемуся роспуску Думы, не удалось. Такого решения не было, и разговоры были похоронены в бюро Прогрессивного блока при усиленном содействии нс сочувствующего активной тактике Милюкова.

Все закончилось «брызгами пера» Амфитеатрова или иного фельетониста из «Русской воли»:

Москва. Ну-с...

Петроград. Трус... А вы-с?..

Москва. Увы-с...

Правительство убоялось и отсрочило заседания Думы на февраль. Оно готовило и проект манифеста о роспуске Думы. Составить его было поручено бывшему министру внутренних дел Маклакову. Последний писал царю 9 февраля: «Смелым Бог владеет, государь», и рекомендовал, «не теряя минуты», обсудить план дальнейших правительственных действий, чтобы «встретить все временные осложнения».

Но жизнь не укладывалась в рамки политической шахматной теории. При возбужденных настроениях положение становилось катастрофическим. Алданову кажется, что после 1921 г. историку «писать будет неловко» о продовольственных

---

[116] О проекте перемещения Думы в Москву и публичного доказательства (нечто вроде выборгского воззвания) сообщает и Каррик, всегда вращавшийся в действовавших общественных кругах.

затруднениях в Петрограде в качестве «причин революции». Но наш беллетрист-историк забывает, что голод население переживает более или менее спокойно только при национальном подъеме или при том ужасающем терроре, которым держится большевистская власть. Ни того, ни другого не было накануне революции. И Департамент полиции не без основания отмечал, что обозленные массы пойдут за теми, кто их накормит или даже только обещает накормить. Позже статистик Громан в заседании Исполнительного комитета 16 марта говорил, что «революция в значительной степени вызвана начавшимся голодом».

В тогдашней конъюнктуре революционная пропаганда должна была прививаться с удивительной легкостью. Рабочая статистика отмечает, что в январе бастуют в пять раз больше рабочих, чем в декабре 1916 г. В Петрограде число политических стачек превышает 117[117] и привлекает 142 тысячи участников, в то время, как экономических стачек насчитывают 15 при 20 тыс. участников. Популяризируется идея всеобщей забастовки протеста и общегородского стачечного комитета, который впоследствии должен принять на себя функции Совета рабочих депутатов.

***

В изображении политического сыска (доклад министра внутренних дел 15 февраля) прогрессисты, стремясь заручиться поддержкой столичных рабочих масс ко дню открытия Думы, обратились за содействием к рабочей группе Центрального военно-промышленного комитета, которая и приступила к организации шествия рабочих к Таврическому дворцу для предъявления депутатам требования о «создании

[117] Максимальная цифра за все время. В период острых октябрьских стачек 1916 г. цифра равнялась 115.

правительства народного спасения». Ввиду этого 27 февраля рабочая группа была ликвидирована.

Арест, по свидетельству информаторов, вызвал большую «растерянность» у лидеров. Через день состоялось совещание представителей союзов, думской оппозиции и фракций левого крыла. Были некоторые члены Государственного совета. Среди присутствующих осведомители отметили Гучкова, Коновалова, Кутлера, проф. Зернова, Маргулиеса, кн. Друцкого, прис. пов. Переверзева (Московский военно-промышленный комитет), депутатов Керенского, Чхеидзе, Милюкова, Аджемова, Караулова, Бубликова. На заседании присутствовали уцелевший от ареста представитель рабочей группы Абросимов и представители московской группы, рабочие Девяткин и Черегородцев.

Выпукло представлено это собрание в докладе Охранного отделения министерству внутренних дел 31 января. Выступает, конечно, Милюков. Его речь и впечатление от нее излагаются в таких словах: «Государственная дума является сейчас центром внимания всей страны. Лишь Государственная дума должна и может диктовать стране условия борьбы с властью. Одна лишь она должна объединить всю эту борьбу и выдвигать для этого соответствующие лозунги. Помимо Государственной думы никто, ни один класс населения, ни одна общественная группа не вправе выставлять своих лозунгов и самостоятельно начинать или вести означенную борьбу. Поэтому политика рабочей группы и рабочего класса ему в данном случае совершенно непонятна». «Присутствовавшие, — продолжает доклад, — ожидавшие услышать от Милюкова резкую и горячую речь, были положительно подавлены подобным характером его заявления, так как всем ясно, что оратор как бы спешит уже теперь открещиваться от того, что затея, пропагандированная рабочей группой, выступлений в день 14 февраля фактически исходила из депутатских думских кругов».

Милюкову все возражают — прежде всего против его позиции, приглашавшей не поднимать излишнего шума по поводу ареста рабочей группы. Погиб «собрат» по борьбе, и союз должен сделать соответствующие выводы, — говорил Керенский. «Где реальная политика Милюкова?» — спрашивает Чхеидзе: «при таком положении вещей Милюков в один прекрасный день рискует оказаться в хвосте событий, так как во главе политических выступлений... окажутся лишь одни рабочие».

По предложению проф. Зернова (отметим, что это тесть Н. В. Некрасова) совещание решает собраться еще раз (5 февраля) для того, чтобы выработать план более решительной борьбы с правительственной властью, создать особый орган (нелегальный) для оповещения широких масс населения и избрания особо законспирированного кружка, который играл бы роль руководящего центра. Разговоры шли в присутствии Абросимова, который оказался впоследствии провокатором...

Об этом заседании упомянул в своих показаниях и Милюков. Память ему несколько изменила, и ему казалось, что собранье было созвано в феврале для обсуждения вопроса о форме выражения поддержки Государственной думе рабочими кругами — проектировалось шествие рабочих к Таврическому дворцу. «Я тогда высказался, — говорил Милюков, — против этой формы, указывая, что такое шествие легко взять в тиски и расстрелять. Весьма энергичным защитником этой формы являлся рабочий Абросимов... Так создавалась та атмосфера, которая вызвала меня на написание письма, приглашавшего рабочих остаться спокойными и которое часто выставлялось против меня, как попытка предотвратить революционную развязку. (В дни революции Милюкову не нравилась уже такая концепция. — *С. М.*). Я указывал в этом письме, что не следует выходить на улицу в тот момент, когда

зовут туда темные силы. В дальнейшем оказалось, что это было время протопоповской затеи и подготовки расстрела революции пулеметами».

Вслушавшись в речи 29 января, надо признать, что позиция Милюкова оказалась довольно изолированной, и если он, действительно, написал свое письмо под влиянием «атмосферы» на собрании, то делал это только за свой страх и ответственность, недостаточно информировавшись о намерениях тех социалистических групп, которые более тесно и органически были связаны с рабочим классом, чем лидер кадетской партии. Своим самостоятельным выступлением, дискредитируя заранее возможности демонстрации, Милюков пытается парализовать тактику, с которой он не соглашается. Шляпников назвал письмо Милюкова «историческим документом». Пожалуй, что это так, но только в этом документе Милюков проявил снова поразительную неосведомленность.

Письмо появилось одновременно с призывом генерала Хабалова к рабочим, причем предостерегающий голос Милюкова мог раздаться только с согласия Хабалова, к которому с соответствующей просьбой обращался Родзянко. Командующий войсками, взывая к «здравому смыслу» и к «совести», призывал рабочих не слушать преступных подстрекателей, которые зовут к «измене»[118].

Милюков, в свою очередь, несколько наивно ссылаясь на то, что какой-то неизвестный, называя себя Милюковым, вел агитацию на фабриках в пользу уличного выступления рабочих в день возобновления сессии Государственной думы 14 февраля с требованием более решительного образа действий от Государственной думы, предостерегающе указывал

---

[118] Любопытна запись Каррика, — кухарка принесла ему сообщение с рынка, что царь зовет всех рабочих 14-го к Государственной думе, где он будет говорить о мире.

рабочим на то, что «дурные и опасные советы... исходят из самого темного источника. Последовать этим советам — значит сыграть в руку врага». Милюков призывал не принимать участия в демонстрации 14 февраля, — таким образом, «коварный замысел не удастся». В провокации Милюков не сомневался, причем уже в историческом обзоре выдает свою точку зрения за «общественное мнение». Немцы и протопоповская полиция — вот откуда, по его мнению, шли «директивы».

Я отнюдь не склонен отрицать ни подпольной агитации немецких агентов, ни провокаторской работы Департамента полиции. Те анонимные прокламации с призывом к выступлению, которые показывал Милюков в декабрьскую сессию Государственной думы и происхождения которых не знали «лидеры социалистических партий», могли быть сомнительного происхождения.

Но в данном случае речь идет о совершенно определенном выступлении 14 февраля, призывы к которому нельзя назвать анонимными. Расходившиеся по заводам листки «без подписи» были листками так назыв. «рабочей группы», и это было известно. На рабочих митингах выступали «гвоздевцы», т. е. те из с.-д. «оборонцев», или «ликвидаторов», которые в годы войны занимали наиболее правые позиции и поддерживали оппозиционные выступления буржуазии»[119].

---

[119] Поддержка эта была, конечно, весьма относительна, и рабочая группа далеко не солидаризировалась с настроеньями «буржуазии». Возражая Гучкову при выборах в Центральный военно-промышленный комитет — в конце 1916 г., Гвоздев так охарактеризовал международную позицию своих единомышленников: «Для рабочей России нежелателен разгром ни России, ни Германии». Эта точка зрения и была проведена в принятой резолюции. Делая «виновником военных бедствий... безответственное правительство», резолюция долю ответственности во внутренней политике возлагала также и на Государственную думу, и на политические партии, составлявшие ее большинство и поддерживавшие «режим военной диктатуры», скрывая от народа правду и не находя

Есть ли в этом хоть какое-либо сомнение? Очень видный меньшевик-оборонец, Маевский, говорит: «В конце 1916 г. «Рабочая группа» оказалась в трудном, почти трагическом положении. Поэтому «Рабочая группа» решилась на героический шаг. Она постановила и утвердительно решила вопрос о вызове рабочих Петрограда на улицу к Государственной думе. Это движение должно было стать, с одной стороны, публичной демонстрацией... с другой, — своего рода петиционным движением, мирным, но с революционными лозунгами во имя спасения страны, что могло вызвать сочувствие со стороны широких нерабочих слоев населения». Против обвинений в «провокации» тогда же протестовал в Государственной думе социал-демократ Скобелев.

Могли ли быть сомнения, даже перед 14 февраля, когда в воззвании самой «Рабочей группы» 24 января так определенно говорилось: «К моменту открытия Думы мы должны быть готовы на общее организованное выступление. Пусть весь рабочий Петроград, к открытию Думы, завод за заводом, район за районом, дружно двинется к Таврическому дворцу, чтобы там заявить основные требования рабочего класса и демократии. Вся страна и армия должны услышать голос рабочего класса».

Интересными подробностями делится в своих воспоминаниях Шляпников. «В течение января и в начале февраля, — рассказывает он, — я имел несколько свиданий с Н. С. Чхеидзе, А. Ф. Керенским. Некоторые свидания были у Н. Д. Соколова, а февральское у прис. повер. Гальперина... Не имея никакого интереса стать игрушкой в буржуазных руках, я не шел ни на какое формальное соглашение... Собрание у Гальперина было посвящено предполагавшемуся

мужества искать в нем опору для решительной борьбы с режимом, который ведет страну к гибели.

выступлению в день открытия Государственной Думы. На нем присутствовали: от фракции меньшевиков Чхеидзе, Скобелев; от соц.-революционеров — Керенский и Александрович...[120]

Там же присутствовали Соколов, хозяин квартиры, и еще несколько человек... Я сообщил... что наше официальное отношение к либеральному движению в пользу «правительства спасения страны» за поддержку Думы и зовущее рабочих к единению с ней — отрицательно... Мое заявление вызвало горячее возражение со стороны Керенского... все вместе просили меня дать ответ на то, как мы намерены держаться по отношению к движению 14-го февраля. Само собой разумеется, заявил я, мы не будем препятствовать выступлению 14 февраля, в этот день сами поведем агитацию за другие лозунги, но поддерживать хождение к Думе своим авторитетом не будем. Большевики желали уличного выступления, но под другими лозунгами: «вместо хождения к Таврическому дворцу с резолюциями в Думу мы выдвинули предложение идти на Невский с нашими требованиями под красным знаменем революции» — одним ударом смести Государственную думу и царское самодержавие[121]. На призывы «Рабочей группы» ополчились и некоторые другие соц.-демократические фракции, полагавшие вредными спайку «освободительного движения рабочего класса с оппозиционной борьбой буржуазии и Государственной думы». В своих выступлениях большевистские ораторы говорили еще проще: демонстрация 14 февраля организуется правительством.

Намеченная демонстрация в широком масштабе была расстроена. «Нам удалось одержать победу только наполо-

---

[120] Будущий левый с.-р., служивший уже тогда, по словам Шляпникова, непосредственной связью между «черновцами» и большевиками.

[121] Большевики днем выступления предлагали 10 февраля — день годовщины суда над соц.-дем. депутатами.

вину, — говорит Шляпников, — массы не пошли к Думе, устроили забастовку, но также не пошли и на Невский». Милюков себе приписал победу: «предостережение рабочих... достигло своей цели». Керенский, встретив несколько дней спустя Шляпникова, воскликнул: «Вы разбили подготовленное с таким трудом движение демократии! Вы сыграли на руку царскому правительству!»

С другой стороны, большинство Думы устами Милюкова — утверждает Керенский в своих воспоминаниях — грубо отвергло поддержку, которая была ему предложена рабочим классом. «Дума вместе с властью, — заявил Керенский в заседании 17 февраля, — разделяет страх перед рабочим классом».

Так расходятся современники в оценке событий, их происхождения и их исторического смысла[122].

Демонстрация 14 февраля все-таки состоялась, и наблюдатели из Охранного отделения должны были отметить явление, привлекшее «общее внимание толпы» — «если можно так выразиться, массовое участие офицерских чинов, преимущественно прапорщиков, более чем усердно распевавших вместе со студентами «Марсельезу». Это знаменовало, по выражению одного из осведомителей, уничтожение в военное время средостения между «казармой» и «улицей», — явление, которое в значительной мере можно было отметить при всякого рода «усмирениях» и демонстрациях уже в 1916 г.[123]

---

[122] Едва ли надо даже говорить, что официальное опровержение Центральным Военно-промышленным комитетом правительственного сообщения об аресте рабочей группы, подготовлявшей политическое движение, а равно и речь А. И. Коновалова в Государственной думе о непонимании правительством истинных намерений рабочего класса и фантастических обвинений, ему предъявляемых, следует отнести к обычным тактическим приемам борьбы и агитации. Правительственное сообщение соответствовало действительности.

[123] Например, в петербургской демонстрации 9 января треть участников, по наблюдениям очевидцев, приходится на солдат.

3. «Чудище обло»

8 февраля, в связи с приездом Думерга, Палеолог устраивает завтрак, к которому приглашаются ген. Поливанов, некоторые члены Государственного совета и лидеры кадетской фракции в Государственной думе. Разговоры вращаются около политики. Думерг пытается охладить несколько излишний, по его мнению, пыл русских политиков в борьбе с царизмом и рекомендует выжидательность. При одном этом слове Милюков и Маклаков вскипели: «Довольно терпения!.. оно истощено у нас. Если мы не будем действовать, массы нас больше не будут слушать». Маклаков вспоминает слова трибуна французской революции Мирабо. «Я говорю о терпении, а не о покорности», — возражает Думерг: «прежде всего не забывайте о войне».

Такова сцена, занесенная в дневник Палеолога. П. Н. Милюков в эти дни проявляет во внешних своих выступлениях исключительную выдержанность — только на интимном завтраке у посла его настроенья могли показаться революционными. При открытии новой сессии Думы Милюков ограничивается обычными предостережениями: «Обыватель становится гражданином, — говорит он 15 февраля, — и объявляет, что отечество в опасности и что он желает взять его судьбы в собственные руки. Мы приближаемся к этой последней точке». Революция грядет, а «правительственная» позиция лидера прогрессивного блока мало изменяется. Ему не улыбается перспектива, что обыватель, превратившийся в гражданина, возьмет судьбы отечества в свои руки: для того и существует Государственная дума, чтобы народ молчал. Говорить должна Дума, только Дума. В этом отношении Милюков, по-видимому, доходил до такой крайности, что, по утверждению Шляпникова, в известном нам заседании 29 января по поводу ареста «рабочей группы» при Военно-

промышленном комитете, высказывал удивление, что «Военно-промышленный комитет стоит еще на старой точке зрения, согласно которой общественные организации, подобные Земскому союзу, Союзу городов и Военно-промышленному комитету, могут играть политическую роль». По мнению Милюкова, «такую точку зрения следовало бы давно оставить. Союзы должны заниматься исключительно теми культурно-техническими задачами, для которых они созданы». Вероятно, П. Н. Милюков не высказывался так грубо, прямолинейно и целиком не солидаризировался с точкой зрения б. министров внутренних дел Маклакова или Штюрмера. Но то, что «руководство политической жизнью должно остаться у единого в настоящее время Прогрессивного блока», было действительно idee fixe[124] Милюкова — в дни революции он определенно ответил Суханову: к.-д. без блока ничего не могут предпринять.

«Ощущение близости революции так страшно» — утверждает Шульгин — «что кадеты в последнюю минуту стали как то мягче». Он вспоминает, что перед открытием последней Думы ему было поручено составить «формулу перехода». Он написал, но формула показалась всем слишком резкой, и Милюков признал, что «в настоящую минуту такая формула нежелательна». Приняли формулу Милюкова «более скромную». В противоположность Шульгину, я думаю, что эта тактика накануне революции диктовалась скорее отсутствием ощущения наступающей политической грозы.

О «революции» говорили все, говорили, пожалуй, слишком много. В революции был уверен тогдашний прокурор московской судебной палаты Н. Н. Чебышев (воспоминания в «Возрождении»): «Мы идем к пропасти... Революция — это гибель» взывал к Шульгину Шингарев, вызвавший 8 января

---

124 Идеей фикс.

телеграммой в Петроград киевского депутата. Коновалов, в свою очередь, налево и направо говорило стихийной, кровопролитной внутренней войне, которая будет протекать без центрального руководства. Еще осенью распространяются слухи о местных переворотах в Москве, Харькове и т. д. Из провинции запрашивают о «революции» Петроград («Бюллетень Рабочей Группы»), Слухи ползут из «темных источников» и мало соответствуют действительности. Но слухи доходят даже до шлиссельбургской каторжной тюрьмы.

Все ждали революции, и она оказалась неожиданной для всех. П. Н. Милюков не любит репутации, отрицающей за ним прозорливость. Post factum[125] он пытается представить дело так, что революцию ждали, но не предвидели, что именно февральское стихийное движение («хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба», — по выражению Александры Федоровны в письме к мужу 25 февраля) приведет к крушению государственного режима. Нет, надо признать, что стихийное «чудище обло» навалилось негаданно, и все оказались в состоянии растерянности и неподготовленности.

Самое большое, чего ждали, это то, что какие-то неизвестные благодетели разрубят гордиев узел дворцовым переворотом. «Против идеи получить ответственное министерство революционным путем, — пишет в «Истории второй русской революции» Милюков, — парламентское большинство боролось до конца. Но, видя, что насильственный путь неизбежен, пошли на переворот сверху». Переворот запоздал, и «события 26 и 27 февраля застали нас врасплох», — свидетельствовал Милюков перед Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства. Либеральные слои общества, не замешанные в «заговорах», еще меньше

[125] Впоследствии.

ожидали наступивших событий. «Еще 26 февраля мы были далеки от мысли, что ближайшие два-три дня принесут с собою колоссальные, решающие события всемирно-исторического значения», — вспоминает Набоков настроения, которые царили в воскресенье в квартире Гессена, где обычно в этот день собирались друзья и знакомые. Мансырев и 27-го не предвидел ничего необычайного и видел в Думе только «смятение и растерянность», «недоумение и негодование» перед неожиданным роспуском. Член Государственной думы Черносвитов (к.-д.) уверял в редакции газеты «Оборона», что, по мнению членов Государственной думы, никакой революции нет (запись Каррика).

Когда началась «стихийная», она оказалась столь же неожиданной и для левых — «для всех полнейшей неожиданностью», как выразился Зензинов в своих записках «Из жизни революционера». «Ничего, казалось, не предвещало грозы», — начинают свое повествование от 22 февраля социалистические авторы «Хроники февральской революции» (Заславский и Канторович): «Правда, на заводах происходило брожение, а собиравшаяся в хвостах у лавок толпа проявляла озлобленное настроение, но в этом ничего не было необычайного. Поверхность политической жизни была гладка и ровна. В Государственной думе тянулись прения по продовольственному вопросу. Скобелев и Керенский грозили грядущей революцией, но это были академические угрозы, и в речах ораторов гневное бессилие боролось с захлестывающей апатией. Газеты, придавленные военной цензурой, были безжизненны и пусты». Через два дня составители «Хроники» дополняют картину: «Партийные организации были раздроблены, бессильны и не поспевали за бурно поднимающимся народным движением. Общественные деятели, близкие к депутатам-социалистам, сделали попытку сойтись на квартире Н. Д. Соколова — и не сошлись. Заходили друг к другу,

встречались у М. Горького, толкались в редакциях, передавали слухи, один другого диковиннее, и ничего не делали.

Настроение становилось еще более возбужденным у одних, все более тревожным — у других».

Составители «Хроники» ошиблись. 26 февраля у Керенского происходило, как это знало Охранное отделение, «заседание информац. бюро» левых партий[126]. В заседании, по словам Керенского, присутствовали представители всех социалистических партий до большевиков включительно, причем самые ярые будущие революционеры утверждали, что революционное движение идет уже на убыль. Аналогичное представление вынес и присутствовавший Станкевич — «правительство победило». Такой вывод был естественен, так как люди оценивают действительность всегда с точки зрения своих планов и обманываются собственными предположениями и расчетами. Революционные группы, ослабленные войной, и раньше считали открытые выступления «неосуществимыми», поэтому ни одна из них не искала выхода в этот момент революции, и «революция, — по признанию Мстиславского, — застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев. спящими». Такой чистой воды «революционер», как Мстиславский, в самый разгар революции все еще продолжат сомневаться: да подлинна ли революционна атмосфера.

Большевистские деятели не могут согласиться с утверждением меньшевика-интернационалиста Суханова, что ни одна партия не готовилась к «великому перевороту». Приближение бури революции для них было «ясно видимо наперекор сопротивлению буржуазии и оборонческих элементов интеллигенции» еще в конце шестнадцатого года. Но

---

[126]Состоялось и собрание у Соколова, носившее, по выражению Суханова, «совершенно случайный» характер.

никто из них не пытался наметить «плана революции», никто не дал призывного сигнала 23 февраля, никто в этот день еще не предвидел, что наступил «решительный бой» (Шляпников). «Стихийная началась сама по себе, и большевикам оставалось только вмешаться в гущу начавшихся рабочих выступлений. Уверенности и у них не было. И в их среде, а не только членов «рабочей группы» Военно-промышленного комитета, раздавались убежденные голоса, что пора ликвидировать забастовку. Казалось, что правительство действительно победило.

***

«Они — революционеры, не были готовы, но она — революция, была готова. Ибо революция только наполовину создается из революционного напора революционеров. Другая ее половина, а может быть, три четверти — состоит в ощущении властью своего собственного бессилия». Цитата взята у Шульгина. Он не все сказал. Стихия рождается и в силу непредусмотрительности и безответственности тех, которые ставят своей задачей обойти «рок» и избавить страну от революции. Ошибки людей иногда бывают пагубны. Иллюстрации к этому положению мы могли встретить не раз на предшествующих страницах.

«Революция подготовилась и организовалась вне стен Таврического дворца», — скажет впоследствии Родзянко, видевший в «стихийной» планомерное осуществление плана революционной демократии. Мы видели, какими большими оговорками приходится сопровождать подобное утверждение. «Революция пришла никем не желанная, никем не подготовленная», — будет утверждать другой активный деятель февральских дней, член Думы Бубликов. Пытается отстранить от партии к.-д. всякую вину в событиях, вызванных падением старой власти, барон Нольде в воспоминаниях о В. Д. Набокове.

«Партия употребляла все усилия, чтобы спасти Россию от революции, к которой фатально вели другие факторы», — вновь и вновь пытается доказать П. Н. Милюков («Современные записки», XLI). Поскольку играет роль человеческая воля, не на партии к.-д. лежит ответственность за неверное направление исторического процесса. «Не наша вина, — писал Милюков в статье «Старый подлог», — что неопытные мореходы сажали корабль на подводные камни».

Как разрешить спор истории? Согласится ли она с заключительными словами Маклакова в предисловии к французскому изданию материалов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства: история, отдав должное добрым намерениям либеральных кругов русского общества, отнесется к ним суровее, чем их несчастные современники? Не произнесет ли она и по отношению к ним те слова, которые Бьюкенен сказал о революционном правительстве эпохи Керенского: утерянная возможность. Они могли спасти страну, но не спасли. Могли ли? Я этого не знаю. Но я согласен с выводами департаментских агентов: «либеральная буржуазия», не отдавая себе отчета, сама подчас вызывала «призрак революции». Информаторы Охранного отделения передают характерные слова одного видного банковского деятеля на собрании финансистов: погромы и революция дадут остыть народному гневу...

Много причин привели Россию к революции. Должна ли «беспристрастная история» отыскивать виновных, и найдутся ли такие? Философы истории будут искать корни в глубоком прошлом русского народа и, быть может, за много десятилетий до революции найдут те основы развернувшегося кризиса, которые не давали надежды на мирный исход. Из их изысканий мы узнаем, например, что «аморализмом была поражена более или менее вся Россия» (Федотов. «Революция идет». «Современные записки»). Логические соображения

никогда, однако, не убеждают, если они не основаны на фактах. Их нет и в «надзвездной романтике» Степуна, отыскивающего «религиозный смысл» русской революции. Я не думаю, чтобы когда-нибудь книжные кудесники сумели действительно доказать, что «русский *народ* восстал на царя и Бога во славу Маркса и интернационала». Не знаю, сумеют ли они представить русскую революцию и грандиозным экспериментом reductio ad absurdum, нигилизма, безверия и «секуляристического начала» (Франк в «Русской мысли»).

Все эти тонкости человеческого ума, игра мысли и воображения не объяснят нам ни хода февральской революции, ни причин ее происхождения. Является ли февральский переворот «зрелым плодом, упавшим от тяжести», как говорил Гучков 8 марта 1917 г. на митинге представителей торговли и промышленности; является ли он завершением «неизбежного исторического процесса», как думает Деникин, — во всяком случае, для объяснения февральских дней нет надобности искать ни марки made in Germany[127], ни провокаторской руки Протопопова. Последнюю легенду так же легко разрушить, как и все другие, но это уже история февральских дней, которая может быть рассмотрена только особо.

***

Что произошло в февральскую революцию? Произошло то, что, по верному замечанию Шульгина, во всем огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти. «Керенский сказал много правды, и все мы думаем о многом, как он», — писал Родзянко З. М. Юсуповой 12 февраля. «Деятели прежнего правительства восстановили все классы», — подводит как бы итог

---

[127] Не только для Милюкова, но и для Струве русская революция задумана и подстроена Германией («Размышления о русской революции»).

ген. Лукомский в письме к Каледину в первые дни наступившей уже революции. Вот символ настроений широких кругов. Могла ли при таких условиях удастся «мировая» прогрессивного блока с правительством — попытка, о которой мы уже упоминали и о которой рассказывал и Протопопов в показаниях перед Следственной комиссией Временного правительства. Родзянко, стоявший несколько далеко от прогрессивного блока, не был, очевидно, осведомлен об этих начавшихся закулисных переговорах; по крайней мере, в показаниях Следственной комиссии он изображает дело так, что последний председатель Совета министров князь Голицын просил его устроить 25-го совещание членов правительства с лидерами партий для того, чтобы устроить «мировую».

Для характеристики момента гораздо более знаменательна обстановка, при которой протекало созванное 26 февраля в Городской думе совещание о введении карточной системы на хлеб. Собрание сейчас же приняло характер «памятных по 1905 году революционных митингов». Среди других выступает М. В. Бернацкий, уверенный в том, что, если и «утолить голод», все равно начавшееся движение не остановится, а «валом докатится до конца». Поддерживая рабочих, оратор предлагает всем «делать свое дело явочным порядком». В это время появляется Керенский, и аудитория встречает его «бурными аплодисментами»...

Общество и народ на короткой миг как бы сливаются. Всякие хитроумные политические комбинации оказываются уже запоздавшими. Это и называется революцией. Происходит братание народа и армии. Рождается энтузиазм, скороспелый, может быть, наносный, искусственно вызванный, но все же стихийный. Повторяется на другой почве, в другой обстановке патриотический угар дней объявления войны. Военная власть не предвидела опасности перехода запасных батальонов на сторону рабочих, и Петроград в начале 1917 г.

был превращен в крупную резервную базу для северо-западного фронта. Правительство не обратило достаточного внимания на замечание графа Игнатьева в Совете министров еще в августе 1915 г: армия перестала быть армией, а превратилась в вооруженный народ. И произошло то, что предсказывал Бьюкенен в преддверии 1917 г.: если будут беспорядки, войска не будут стрелять.

Никто уже не мог руководить стихией — ей легче было потворствовать. На демагогии делается политическая карьера — не только отдельных людей, но и целых партий. В истории, однако, нет фатализма. Поэтому никакая стихия не может оправдать тех, кто в революционную бурю взялись вести государственный корабль. Прав в этом отношении был Арцыбашев, сурово судивший современников. Званные гости, на пиру, уготованном судьбою, не выполнили предназначенной им миссии. Они все на первых порах, сознательно или бессознательно, потакали стихии и курили фимиам великой бескровной русской революции. Лидер прогрессивного блока, как и другие, быстро сменил свою прежнюю «правительственную» тогу, принял революцию и воздвиг ей пьедестал. Милюков решительно возражал Набокову на утверждение последнего, что одной из основных причин стихийной революции являлось утомление войной, нежелание ее продолжать. Для Милюкова революция становилась положительным фактором для войны. Из увлечения этой фикцией вытекала прямолинейная политика первого министра иностранных дел революционного правительства, которая расширяла и так уже обострявшиеся социальные противоречия революции...

Книга судеб — сказал кто-то — не открывает своих страниц перед глазами даже прозорливых современников. Глубокой исторической фальшью, звучит в наше время концепция, утверждающая, что революция была сделана во

имя войны, выставляющая руководящей идеей революции 1917 года победу над германским империализмом (речь Гучкова в Государственном совете). Перефразируя слова председателя Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Н. К. Муравьева, можно сказать, что для успеха войны нельзя было сменять власть. «Переворот» дезорганизовывал, а не организовывал победу. Неизвестно еще — выдержала бы Россия четвертую зиму войны, но известно, что она не выдержала испытаний стихийной революции во время войны.

Оглавление

От автора 3
Глава I. Война 8
1. Шовинистический угар 8
2. Виновники неудачи 17
3. Перемена настроений 25
Глава II. Правительство и общество 33
1. Министерство доверия 33
2. Верховная власть 44
3. Сепаратный мир 58
Глава III. «Штурмовой сигнал» Милюкова 64
1. Слово об измене 64
2. Чувство меры 69
3. Шахматная комбинация 74
Глава IV. Планы князя Львова 83
1. «Безумный шофер» 83
2. Генерал Алексеев 86
3. Старый знакомец 94
4. Миссия Хатисова 97
Глава V. Великие князья 105
1. Верховный главнокомандующий 105
2. После убийства Распутина 121
Глава VI. Военный переворот 133
1. Заговор Гучкова 133
2. Генерал Крымов 139
3. Вокруг армии 143
4. Морской план 147
Глава VII. «Выборы» Временного правительства 154
1. Предусмотрительные люди 154
2. Политическая лаборатория 158

Глава VIII. Масоны ... 168
1. Объединение общественности ... 168
2. Заговорщический Центр ... 175
Глава IX. В ожидании революции ... 186
1. На верхах ... 186
2. Неудавшаяся демонстрация ... 192
3. «Чудище обло» ... 202

Сергей Петрович Мельгунов

На путях к дворцовому перевороту

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru